

# Лолотта и другие парижские истории

**Автор:**

[Анна Матвеева](#)

Лолотта и другие парижские истории

Анна Александровна Матвеева

Проза: женский род

Анна Матвеева – прозаик, автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной», сборников рассказов «Девять девяностых», «Подожди, я умру – и приду». Финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», лауреат премии Lo Stellato за лучший рассказ года.

Новый сборник прозы Анны Матвеевой «Лолотта» уводит нас в Париж. Вернее, в путешествие из Парижа в Париж: из западноевропейской столицы в село Париж Челябинской области, или в жилой комплекс имени знаменитого города, или в кафе всё с тем же названием. В книге вы встретите множество персонажей: Амедео Модильяни, одинокого отставного начальника, вора, учительницу французского, литературного редактора, разочаровавшегося во всем, кроме родного языка... У каждого героя «Лолотты» свой Париж: тот, о котором они мечтали, но чаще тот, которого заслуживают.

Анна Матвеева

Лолотта и другие парижские истории

Красный директор

## Рассказ в четырёх стихиях

### Воздух

Бывший директор завода Павел Петрович Романов летел в Париж на свадьбу своей старшей дочери Александры.

Бывшими директорами, – как и бывшими русскими – не становятся. Романов намеревался работать даже не до пенсии, а до смерти, но его вытурили с завода в семьдесят лет. Такой вот подарок к юбилею – вместе с приветственным "адресом", напольными часами и букетом цветов, глядя на который, Павел Петрович подумал: лучше бы деньгами.

На заводе остались: просторный кабинет, хорошая зарплата, трепет трудового коллектива и душа. Душа-то и терзала его теперь с утра до вечера, не соглашаясь ни на какие подмены – рыбалка, кроссворды, телевизор, садовые работы, ничего ей не хотелось, кроме как вернуться на завод и работать дальше. Силы-то в нём ходили ещё ого-го какие, да и завод, в этом смысле, не кончился. Павел Петрович просыпался в шесть утра как привык за целую жизнь – и что прикажете делать дальше?

Младшая дочь Анна считала, что ему нужно больше времени проводить с внуками – играть с Игнатом в шахматы и водить Настю на гимнастику. Романов был, в принципе, не против, но внуки утомляли его куда сильнее, чем самые нерадивые подчиненные. По сравнению с Игнатом и Настей даже вороватый снабженец Кудрявцев, с которым они бодались не на жизнь, а на смерть, выглядел ангелом – особенно спустя столько лет. Одно из первых пенсионных впечатлений Романова – теперь он скучал не только по друзьям и соратникам, но даже по тем, кого не выносил. У подлеца Кудрявцева имелись связи наверху, и скочырнуть его с места было делом хлопотным. В конце концов, Романов, конечно, победил – он всегда побеждал – а теперь вдруг начал вспоминать Кудрявцева с тёплой улыбкой. Даже слезу однажды выпустил – капелька маленькая, как из шприца перед уколом.

А внуки... Ну что тут сказать – другое время, другие дети!

Дочери Павла Петровича, что Александра, что Анна, в детстве были послушными, скромными, учились – прилежно. Хоть и поздние они были дети, и отец у них директор завода, а мать – главный бухгалтер, а деды – ветераны войны (Романов-старший – тот, вообще Герой Советского Союза), но девочки были точно такие же, как все советские дети. Разве что в «Орлёнок» он их в детстве отправлял пару раз, но и всё на том. И без этого считалось, что детство у детей – счастливое. Самому Павлу Петровичу такого не досталось – он родился за год до войны. Жили очень бедно: мать сварит пустой суп, и детям положено было есть его, пока в кастрюле дно не покажется. И хлеб чёрный – липкий, горьковатый, но всё равно очень вкусный. Павлу Петровичу этот хлеб всю жизнь снится – и каждый раз во сне горбушка такая махонькая!

Тут как раз пассажирам привезли обед, начали раздавать коробки – Романов попросил на горячее курицу. Хотел достать сыр из пластиковой упаковки – никак не получалось. То ли он с возрастом стал такой беспомощный, то ли народ разучился делать всё на совесть? Романов склонялся ко второму. Вот и покойная супруга Антонина Фёдоровна в последние годы жизни часто ворчала, что люди совсем стыд потеряли. Разве можно так работать, если за тобой тут же приходится вызывать мастера, и всё переделывать? Это она про евроремонт. Все годы свои последние угрохала на этот ремонт, а потом слегла – да так и не встала.

– Давайте я помогу, – девушка, которая сидела рядом, сжалилась над Романовым, отобрала у него упаковку с сыром и в два счёта – чик-чик – вспорола её ногтями. Ногти выкрашены в разные цвета – два посередине красные, остальные – розовые. Анна точно такой же маникюр носила, и когда отец возмутился странной модой, объяснила:

– Это фэн-шуй, папа. Чтобы деньги водились.

Деньги у них в доме всегда были в нужном количестве – Антонина Фёдоровна вела семейную бухгалтерию так же чётко, как заводскую. Детство супруге досталось тоже не из лёгких – отец-военный не видел разницы между солдатами и собственными малолетними детьми. Антонина в детстве имела два платья – зимнее и летнее, которое по потребности использовали ещё и как нарядное. Платья донашивала за старшей сестрой – так же как банты, школьный портфель и мешок для сменки. Каждый вечер, как сделает уроки, помогала матери – то гречу перебирала, то яблоки для компота резала, то простыни подрубала. Обо

всём этом супруга подробно рассказывала дочерям, чтобы ценили то, что имеют. И Павел Петрович, где надо, добавлял от себя подробности. А чаще где не надо, как считала Антонина Фёдоровна.

Девочки росли послушные, но между собой не дружили, даже в раннем детстве. Александра восприняла рождение Анны как наказание – она думала, мама с папой были ею недовольны, вот и решили завести другую девочку. Что с ней им, вроде как, больше повезёт.

Сейчас-то Павел Петрович понимал, где они сделали ошибку – но с той станции поезд давно уехал, да и саму станцию уже не разыщешь. Им бы тогда ласку проявить к старшей, объяснить ей: маленькая ни на что не покушается, родители не перестанут любить большую. Но что сам он, что супруга не приучены были вести с детьми душевные разговоры – не принято было. Детей тогда вроде как всерьёз никто не воспринимал, это сейчас все как с ума посходили. Только и слышно – детям нужно внимание, детьми нужно заниматься. А результат – обратный. Романов за долгие годы на руководящей должности привык держать ориентир на результат – итоги соцсоревнования, выход продукции и так далее. Психологические нюни были не для него, но теперь, на пенсии, ему пришлось столкнуться с ними лицом, как говорят, к лицу.

Павел Петрович жевал сыр, даже не подумав поблагодарить за помощь девушку с разноцветными ногтями – кивнул, да и хватит. Слово «спасибо» у директоров не в ходу. Съел курицу, подчистил соус ледяным кусочком хлеба – как из морозилки, честное слово!

Раньше-то он летал в бизнес-классе. Ещё в позапрошлом году.

Взял у стюардессочки чай с лимоном, размешал сахар пластмассовой ложкой.

Сегодня он увидит дочериного жениха – а завтра поведет Александру под венец. Если он у них будет там, конечно, этот венец.

Романов с трудом представлял себе, на что походит французская свадьба. Вот у Анны было торжество – любо-дорого вспомнить! Конечно, они с матерью разорились, выкладывая денежки на лимузин, карету, артистов из Москвы, зато потом разглядывали фотографии – насмотреться не могли! (Даже забыли о плохой примете, что младшая первой замуж выскочила).

Одно только портило снимки – жених.

Павел Петрович недолюбливал зятя Валерку, и не понимал, почему Анна его выбрала – на вид пельмень недоваренный, характер склочный, да и зарабатывает меньше дочкиного. Вот и внуки, наверное, в него пошли, – ни в Игнате, ни, тем более, в Насте дед не видел ничего своего, или хотя бы супругиного.

Игнат – вертлявый рыжий двоечник, – целыми днями лупился в компьютерные игры, какие уж там шахматы! Только придёт из школы, бахнет ранцем (который теперь стали называть «рюкзаком») в коридоре – и тут же несется к компьютеру. Павел Петрович, когда это при нём случалось, вмешивался. Запрещал приближаться к компьютеру, однажды выдернул проводки, а парень – в рёв:

– Ты что, дед, с ума сошёл? Я семь уровней прошел!

Ну, Павел Петрович и не выдержал. Наподдал по заднице. Попробовал бы он в своём детстве так с дедом поговорить – а тот суровый мужик был, кузнец – тут же получил бы по первое число, какой уж там седьмой уровень.

На вопли Игната прибежала Анна, в руках – плоский компьютер, как книжка. Планшет называется. И дочь, и зять бродят по дому с этими планшетами, фильмы смотрят. Анна объясняла, это чтобы время зря не тратить. Идет Валерка по квартире, а у него в руках кто-то стреляет и матерится. А навстречу – Анна, у той другое кино – с нежностями и голой задницей во весь экран. Счастливый брак! Надо было им с матерью подумать, прежде чем кошелиться на богатую свадьбу...

Так вот, Игнат ревёт, задыхается. К матери бросается за справедливостью – как в суд! Анна рассердилась, аж вскраснелась вся:

– У тебя в подчинении столько людей было, а ты с пятиклассником справиться не можешь?

Сердце Романова грустно сжалось – дочь ткнула в него этими словами, как ножом. Он ведь, действительно, руководил огромным коллективом, и с каждым

умел найти общий язык. Нигде этому не учат – то есть, сейчас-то и этому учат, и другому всякому (на днях Павел Петрович видел в городе рекламную растяжку с красными буквами – «Учим говорить «Нет!»), но в его-то время никаких таких курсов для руководителей не было. Всё постигал на личном опыте – ошибался, конечно, но в целом, поступал верно. Никто бы на заводе не сказал, что Романов несправедлив, как руководитель.

А тут, смотрите, попало! Хотя, если призадуматься, что такого? Отец Павла тоже лупил в своё время – не часто, за дело. Так ведь он-то на отца такую варезку не разевал.

В общем, с Игнатом у них не особенно ладилось – только перед праздниками парнишка добрел, выклянчивая подарки. Всё какие-то игры с жестокостями ему подавай, да телефоны дорожные. Однажды Павел Петрович купил к Новому году настольный хоккей, но его, кажется, даже и не распаковали, хотя с того нового года ещё три набежало. Так и валяется коробка где-то на балконе.

Внучка Настя тоже не слишком льнула к деду – её с малолетства таскали по конкурсам красоты для девочек, вот она и вела себя со всеми как взрослая женщина. Романова оторопь брала, когда Анна хвалилась Настинными фотографиями – семилетний ребёнок размалёван, как шалава подзаборная! Бальное платье, прозрачные перчатки, на голове – корона, с ушей длинные серьги свисают... И взгляд, главное, такой недетский – расчётливый, как у потаскухи. И поза – руки в боки, бедро вперед. Тьфу, смотреть тошно!

Анна обижалась:

– Ты, папа, совсем отстал от времени. Разве плохо, что девочка с детства будет уметь следить за собой, что не будет распустёхой, как...

Споткнулась.

– Как мать? – спросил Романов. Сердце в груди тяжело заворочалось, как будто искало выход из грудной клетки.

– Я не то хотела сказать, – начала оправдываться Анна. – Но мама ведь, правда, не уделяла особого внимания моей внешности. Я даже косы заплетать не умела – мне учительница в школе показала и корзиночку, и кральки...

– Сама ты краляка! Она вам жизнь подарила, а ты такие слова говоришь, бесстыжая!

Крепко они в тот раз поругались, но уже через день дочь позвонила – извинялась, плакала. В том же разговоре попросила денег на поездку в Турцию – Настя прошла в какой-то финал детского конкурса красоты, но дорога была за свой счёт, а у Анны – долги, кредиты, Валерка, которого со всех работ гнали, как таракана...

Романов оплатил поездку, но корону Насте выиграть не удалось. Было большое расстройство, Анна говорила, что это всё козни организаторов – какая-то пробивная мамашка занесла деньги.

Павел Петрович только раз дал себя заманить на один такой конкурс – во Дворце молодежи. У них были места в первом ряду, и Анна шёпотом на ухо попросила отца говорить тише – рядом с ними сидели главные враги счастливого Настинного детства, родители Лизы Симоновой. Эта Лиза в итоге и получила корону победительницы – со сцены отправляла воздушные поцелуи в зал не хуже чем Лайма Вайкуле. Настя плакала во весь голос, Анна сжимала кулаки, а Романов вспотел от жалости к ним обеим, от своего бессилия помочь...

Мама Лизы Симоновой – высокая и толстая, похожая на динозавра из детской энциклопедии, поминутно поправляла очки в розовой оправе – как будто они мешали ей хорошенько разглядеть ликующую дочь. Отец – смуглый, примятый брюнет – громко аплодировал и кричал, как в заграничном фильме:

– Это моя дочь! Это моя дочь!

Больше Романов никогда не совершал такой ошибки – сколько ни звала его Анна, он каждый раз придумывал причину отказаться. Даже на соревнования по гимнастике не ходил – больно было за Настю, которая вечно оказывалась даже не на вторых, а на десятых ролях.

Зря он это вспоминает... Врач из кардиоцентра когда ещё сказал – вы поменьше думайте о плохом, Павел Петрович. Жизнь, она ведь одинаково несчастная у всех. Радуйтесь моменту – улыбнулся вам ребёнок, уже хорошо. Птичка запела – еще лучше. Солнышко выглянуло – совсем славно!

Но как-то не складывалось у него в последнее время с детскими улыбками, да и погода стояла мрачная, даром что апрель, да и вместо птичьего щебета за окнами в квартире звучал вороний грай.

Романов откинул спинку кресла (сзади недовольно ойкнули) – и задремал. Проснулся, когда пилот объявил посадку – «Мы прибываем в аэропорт Шарль де Голля города Парижа!»

Земля

Романов редко путешествовал в одиночестве – да он и вообще редко путешествовал, чаще ездил в командировки, или по обмену опытом. Санаториев не признавал, отправлял туда всё больше Антонину Фёдоровну – жаль, не помогли ей те санатории. Рано она ушла, и так тоскливо было без неё Павлу Петровичу, что обычными словами не объяснишь, а необычных он не знал. Тут ведь дело не в любви, и не в сексе этом, о котором теперь столько разговоров по телевизору – дело в том, что старые супруги после долгой совместной жизни как бы срастаются в одного человека. И когда одна часть этого человека умирает, вторая мучается не только от боли, но ещё и от пустоты, нехватки того, к чему успел привыкнуть.

Вот почему Романов позволил секретарше Люсе переехать к нему в квартиру. Единственный способ для осиротевшей половины не уйти следом за умершим супругом – начать срастаться с другим человеком. С Люсей у них был давний приятный роман – Романов не считал, что изменяет супруге, потому что Антонина Фёдоровна давно отменила интимные отношения – без слов объяснила, что считает себя для этого слишком старой. Было ей, к слову сказать, тогда под сорок – как теперь Александре.

Секретарша Люся пришла на завод совсем ещё молодой девушкой, между работой успела выйти замуж и развестись. Детей у неё не было, а вот пронцательности – хоть ложкой ешь. Мужскую печаль в глазах директора она прочитала раньше всех – и тут же впустила его к себе в норку. Ни на что большее Люся не претендовала, Романов считал, что ей, действительно, хватает вечернего часа на диванчике и серёжек в день Восьмого марта.

О себе Люся говорила – я секретарь от Бога. Один её взгляд – и толпа посетителей отступает из приёмной. Ни разу за эти годы – а она проработала с Романовым почти двадцать лет – не забыла ни об одном звонке, ни об одной встрече. Знала, кому улыбнуться, кого – поставить на место, где сказать, где промолчать. Печатала, как из пулемёта, блузки носила белоснежные, причёсана не хуже Гурченко, туфельки на острых каблучках...

Продвигаясь в очереди на паспортный контроль, Романов с грустью вспоминал ту, прежнюю Люсю. Она исчезла, лишь только секретарша превратилась в директоршу – и переехала в просторную квартиру на улице маршала Жукова. В квартире всё оставалось таким, как было при Антонине Фёдоровне – мебель, постельное бельё, цветы на подоконниках... К цветам супруга относилась трепетно, переживала за каждую фиалку, как за близкого родственника. А как радовалась блёклым цветочкам! Ни один букет, которыми Антонина Фёдоровна не была обделена как при жизни, так и после смерти, не вызывал в ней такой нежности. Она и в юности, вспоминал теперь Романов, пыталась выращивать в их первом жилье – общежитской комнате – какие-то традесканции, что ли? Прикалывала вьющиеся ветки к обоям швейными булавками, что-то без конца рыхлила, пересаживала, поливала...

– Я так понимаю, этот огород вам без нужды? – спросила Люся чуть ли не в первый вечер, как перебралась к Романову. Она по-прежнему была с ним на вы и по имени-отчеству. – Давайте я отдам цветы соседке с первого этажа, мы с ней уже познакомились.

Романов привык к зеленым зарослям на подоконниках – в последние годы с ними неплохо управлялась домработница. Даже фиалки иногда покрывались бледными цветочками, и тот странный куст, название которого директор так и не выучил, выпускал новые сочные стрелы, похожие на перья. Но Люся настаивала – у неё была аллергия на растения.

– А у меня на эту женщину – аллергия! – возмущалась Анна. Дочери в кои-то веки проявили единодушие – Александра писала из Парижа рассерженные мейлы, не догадываясь о том, что первой их читает ненавистная Люся (Романов так и не освоил компьютер), а её младшая сестра, дня не проходило, высказывала отцу претензии. Как он мог после мамы связаться с такой ... с такой...

– С какой? – устало переспрашивал отец, и Анна умолкала, не решаясь вымолвить обидное слово. Впрочем, подходящее слово нашлось впоследствии и

без её стараний. Двадцать лет Люся трамбовала в себе обиды и сдерживала чувства, но как только получила, что желала – тут же превратилась в другого человека. В безжалостную жадную дрянь.

...– Цель визита во Францию? – спросил у Романова пограничник, сидящий в стеклянной будке. Директор ни слова не разобрал, но, к счастью, в очереди за ним стояла всё та же отзывчивая девушка с разноцветным маникюром. Тут же подскочила, забулькала по-французски.

– Вы отдыхать приехали? – спросила она Романова.

– Нет, я к дочери. На свадьбу.

– Да, свадьба – это не отдых, – улыбнулась девушка.

Пограничник поставил в паспорте отметку, и Романов вошёл на территорию Франции, вновь забыв сказать попутчице «спасибо».

... Следы евроремонта, который выжал из Антонины Фёдоровны все её силы, а потом и забрал жизнь, испарились, как толпа посетителей в приёмной к вечеру. Люся в считанные месяцы превратила квартиру Романова в нечто похожее на платную больницу. Павел Петрович однажды провёл в такой две недели, и до сих пор боялся, что умрёт не у себя дома, среди родных вещей, а в чужой, стерильно-белой палате. Теперь никаких сомнений – точно так всё и будет, даже если смерть явится за ним по домашнему адресу. Мягкие кресла и ковровые покрытия исчезли, а их место заняли конструкции из кожи и стальных трубок, полы с подогревом и освещение, которое автоматически включалось, реагируя на появление человека. Романов не счесть сколько раз пугался, когда лампа загоралась как сама по себе – а Люся ликовала: хай-тек! Наконец, можно людей в гости позвать!

Люди, действительно, приходили – незнакомые, молодые. Люсе-то ещё и пятидесяти нет, а выглядит того моложе. Романов отчаянно томился, высиживая за общим столом, накрытым, к слову сказать, стараниями ближайшей кулинарии. Как бы кулинария не старалась, в блюдах всё равно сквозил привкус горелых кастрюль и дешёвого масла. Люся готовить не умела, а домработница у Романовых на кухню допускалась только с уборкой. Антонина Фёдоровна всё делала сама – и холодец, и суп с клёцками, и торт «Наташа». Лучше всего у неё

получались пельмени с секретом. Секрет заключался не только в том, что один из пельменей обязательно делался с начинкой из теста, утыканного чёрным перцем – а, прежде всего, в том, что блюдо это Антонина Фёдоровна затевала только в тех случаях, когда была недовольна мужем. Блины, к примеру, требовали хорошего и ровного настроения – иначе попросту не получались, а вот пельмени, наоборот, помогали душе выправиться. Супруга Павла Петровича никогда не выясняла с ним отношений – вместо этого она уходила на кухню лепить пельмени, да не свердловские «ушки», а орские полумесяцы. Антонина Фёдоровна выкладывала один пельмень за другим на громадную, бабкину ещё разделочную доску, и, наблюдая за тем, как растёт съедобное войско, чувствовала, что тревога и недовольство покидают её с каждым новым полумесяцем, занявшим место в строю.

Люсе кулинарная психотерапия была неведома – и она с удовольствием выясняла отношения с Романовым, наказывая его за долгие годы своего молчаливого послушания. Утром бросившая службу секретарша крепко спала, днём – носилась по магазинам, вечером принимала агентов, продающих дорогие пылесосы или косметику (с Люсиной помощью они делали недельную выручку в полчаса), а ночью – ссорилась с Павлом Петровичем.

Особенно она донимала его в поездках – приходилось возить её летом на море, зимой – на горнолыжные курорты (при том, что на лыжах не катались ни сама Люся, ни, тем более, директор), осенью и весной – в Европу... Романов терпеть не мог гостиниц, на море ему было жарко, на снежной горе – холодно, европейские магазины его интересовали примерно так же, как музеи. Он ездил туда только ради Люси, и она, худо-бедно понимавшая по-английски, проводила его через границы, таможни и ещё какие-то трансферы, что ли. Отправляясь в Париж в одиночестве, Романов немного побаивался – справится ли? Александра обещала встретить его в аэропорту – а вдруг забудет, время перепутает? Мало у неё других забот перед свадьбой...

В этих неприятных раздумьях Павел Петрович вместе с другими пассажирами перешёл в зал, где выдавали багаж. Девушка с разноцветными ногтями, успевшая его обогнать, махала откуда-то издалека. Действительно – их рейс уже выгрузили, и чемоданчик директора, купленный, кстати, всё той же ненасытной Люсей, передвигался по ленте гордый, как победитель.

– Спасибо, – непонятно кому сказал Романов, снимая чемоданчик с ленты.

Если он и был за что-то благодарен новым хозяевам завода, скоропостижно выславшим красного директора на пенсию, так это за то, что практически на следующий же день после этого от него ушла Люся.

Он, конечно, подозревал, что у неё кто-то есть – может, из пылесосов, может, из косметики, а может – из тех пятидесятилетних юношей, что бывали у них в гостях каждую субботу. Цену себе Люся знала, если и завышала – то незначительно, и после того, как Романов потерял большую зарплату, служебный автомобиль с водителем, а главное – статус, его собственные котировки тут же обвалились. Люся не плакала, вела себя деловито. Объяснила, что мебель забирать не будет, – только личные вещи.

– Сколько сил я сюда вложила! – вздохнула она на прощанье, поглаживая косяк в коридоре. И потом, как будто вспомнив о чём-то несделанном, сказала Романову:

– Я ведь вам, Павел Петрович, лучшие свои годы отдала.

С таким лицом сказала, как будто он их должен ей теперь вернуть.

Романов и так-то был пришиблен известием о пенсии – он, конечно, подозревал, что его могут сместить, но не думал, что это случится так стремительно. Люсин исход, занявший три дня и около пяти контейнеров, тоже поначалу выглядел трагедией – директор привык к ней, они, как ему казалось, начали срастаться, но оставшись в одиночестве, в этой страшной квартире с хромированной мебелью и пустыми белыми стенами, почувствовал вдруг давно забытую лёгкую радость... Как будто Антонина Фёдоровна кричит с кухни – Паш, ну сколько можно звать? Пельмени остывают, кто ж их ест холодными? Как будто из маленькой комнаты, где выросла Анна, доносятся вопли мультфильмов, а из гостиной – смех маленькой Александры.

Павел Петрович уснул в эту ночь крепко и счастливо – а наутро попросил домработницу купить каких-нибудь комнатных цветов.

– Я своих вам пересажу! – обещала счастливая домработница. – Мне ещё Антонина Фёдоровна давала фиалки, знаете, как разрослись?

Она, в самом деле, принесла несколько горшочков, из которых торчали робкие ворсистые листики. Вскоре фиалки освоились, и одна из них, бледно-голубая,

перед самым отъездом директора, готовилась расцвести. Стыдно признать, но Романов жалел, что увидит цветок только через три дня.

А вот другой свой цветочек – Александру – он увидел сразу, как только вышел в зал прилёта. Она махала ему правой рукой, а левой обнимала за талию невысокого и какого-то кривоватого мужчинку, похожего не столько на Алена Делона, сколько на Луи де Фюнеса в молодости. Все свои познания о французах директор, как и большая часть советских людей, вынес из комедийного галльского кинематографа. Делон, Депардьё, Де опять же Фюнес, Пьер Ришар и Бриджит Бардо.

Романов так загляделся на будущего зятя, что запнулся – и чуть не упал на ровном месте. Тьфу ты! Сам как Луи де Фюнес.

– Как долетел, папа? Всё нормально прошло? А что, Анька так и не собралась?

Александра до последнего момента надеялась, что сестра передумает – ведь она-то была на её дебильной свадьбе с белыми голубями и лимузином! Хотя бы из чувства справедливости можно было приехать?

– Она приболела, Сашенька, – соврал Павел Петрович, мучительно жалея старшую – в ней будто свет погас, а ведь только что сияла как праздничный торт, и даже не выглядела на свой возраст!

Будущий зять что-то залопотал не по-нашему, и Александра спохватилась:

– Конечно! Папа, это Николая. Николая, сэ мон папа. Знакомьтесь!

Романов, конечно, знал, что дочкин жених по-русски ни бум-бум, но только сейчас до него дошло, что это означает на самом деле. Ни поговорить толком, ни выпить...

Вот и Валерка, младший зять, тоже был тот ещё пивун – директор каждый раз цыкал языком, когда зять, как женщина, прикрывал рюмку ладошкой. Романов-то – из старой гвардии: при виде бутылки с водкой в обморок не падал. И с народом говорил на одном языке. Встречи с рабочими, совещания, визит начальства, иностранные делегации – директор всюду держал марку. Знал, где

пошутить, где тост сказать, а где – прикрикнуть и матюгнуться. Люди его уважали, не то, что теперь. Хоть бы кто с завода позвонил Романову в последний год – ни одна собака не почесалась. А у него на душе саднило от привычного беспокойства – как производственный процесс, есть ли заказы?

Водитель Иван Никодимович, возивший директора на бежевой «волге» без малого двадцать пять лет, тоже ушёл на пенсию. У него было прозвище «Никотиныч» – курил он, действительно, много. А если не курил – спал. Не раз Романов заставлял такую картину – выходит он, положим, из мэрии или из Белого дома, а Никотиныч храпит так, что через закрытые окна слышно. Даже кроткая Антонина Фёдоровна однажды возмутилась – почему Романов его не уволит? Но ведь уволить человека, с которым проработал столько лет – это как развестись с женой после серебряной свадьбы. Романов привык к Никотинычу, тоже по-своему сросся с ним – и не мог представить себе рабочий день, который начнётся без него. К тому же, у Никотиныча были свои плюсы – он водил машину по городу аккуратно и быстро, знал все дворы и проулки, а ещё обладал чувством юмора и врожденной наблюдательностью. Некоторые его наблюдения Романова искренне удивляли. Вот как-то раз стояли они с ним в «пробке» на Большакова – аккуратно рядом с домиком Бажова. Никотиныч хитро покосился на директора, и вдруг говорит:

– Его ведь, как вас, звали, Павел Петрович.

– Кого? – не понял Романов.

– Да Бажова! А фамилия у вас – царская. Романов! Получается, именем-отчеством вы сказочник, а по фамилии – царь.

– Чушь не пори, Никотиныч! – рассердился директор. – Брякнешь где такое, сам должен понимать, что начнётся. Какой я тебе царь? Рабочая кость!

А у самого в груди что-то прямо теплом каким-то наливалось от удовольствия. Никотиныч это тепло тут же словил, и, довольный, умолк. Через полчаса уже крепко спал на стоянке у проходной, и снег рядом с машиной весь был усыпан окурками.

Эх, сейчас бы сюда Никотиныча! Мигом домчал бы Романова до нужного дома – но Александра и Николая вместо такси повезли отца в электричке. В вагоне пахло

мочой, рядом сидела индийская, видимо, семья. Мать в платке спросила что-то у Александры, и дочь так быстро и ловко зашебетала по-французски, что Романов приосанился. Он гордился старшей дочкой – она и университет в Париже окончила, и ещё на каких-то курсах переводчиков училась, куда брали только тех, кто проживёт во Франции не меньше семи лет. Кроме того, Александра очень походила на свою маму в молодости – и Романов, глядя на неё, иногда не понимал, что Антонина Фёдоровна здесь делает, и почему она такая молодая, если он – старый.

Добирались долго, почти час, со многими остановками. Коля (так Романов звал про себя Николая) вежливо улыбался, придерживая ногой чемоданчик, который ехал в проходе. Когда вышли на нужной станции, индийская семья пошла за ними следом – и Александра показала им, где ждать поезда в Диснейленд.

– А нам ещё в метро, папа, – объяснила дочь.

Огонь

В Париже Романову до сей поры бывать не приходилось – когда работал, не имел времени, а когда начались насильственные выезды с Люсей, то выбирали они, в основном, Италию и Швейцарию. Сейчас, когда вышли из метро (станция, как сказала дочь, называется «Крым»), он с интересом глазел по сторонам – но не увидел ни Эйфелевой башни, ни старинных церквей.

– Ты что, пап! – засмеялась Александра. – До башни отсюда очень далеко. Ничего, мы тебя послезавтра специально свозим.

Коля терпеливо взволок чемоданчик по ступенькам метро. Странно, что у них мало эскалаторов. Жених дочери и так-то был кривобоким, а тут его вообще скосило на сторону. Ничего, пусть старается!

Чем ближе подходили к дому, тем больше нервничала дочь. Как будто хотела что-то сказать и не решалась.

Наконец, когда Коля с видом победителя поставил чемоданчик на асфальт, и начал открывать дверь в подъезд довольного облезлого дома, Александра собралась с духом:

- Папа! Тебе нужно кое-что узнать о нашей с Николая семье. У нас есть определённые принципы, которых мы придерживаемся, и я буду тебе очень признательна, если ты не станешь осуждать нас и наших гостей.

- Ты о чём это? - напрягся Романов.

- Да ничего особенного! Просто мы с Николая, и наши друзья - джайнисты.

Коля тут же достал из кармана марлевую повязку, как будто она должна была объяснить Павлу Петровичу, в чём дело.

- Пойдёмте в дом, - заторопилась Александра, до которой дошло, наконец, что объяснять свои религиозные предпочтения лучше в квартире, чем на пороге. Вон и соседи уже в окно таращатся, прямо как в России.

После подъёма пешком на пятый этаж Романов стал в прямом смысле слова красным директором - кровь прилила к лицу, и сердце снова теснило грудь, как будто искало выхода. Александра испугалась:

- С тобой всё нормально?

Павел Петрович подышал, как научил его врач-кардиолог, и сунул в рот таблетку валидола.

В квартире Александры и Николая царили порядок и пустота. Вообразить, что здесь живёт невеста, не смог бы даже самый отчаянный оптимист - никакой одежды, свисавшей со спинок стульев, полное отсутствие баночек с косметикой. Над стареньким диваном летала муха - такая же неторопливая и сосредоточенная, как те, что преследуют коров на пастбище.

- Нелза убиват, - неожиданно сказал Коля, и Романов почему-то испугался тому, что кривобокий жених говорит по-русски, пусть и получается у него это тоже кривобоко.

– Видишь, – просияла Александра, – Николая специально для тебя выучил несколько слов по-русски.

– Почему нельзя убивать муху? – растерялся Романов. Он с удовольствием шлёпал по стенам мухобойкой, как в детстве, так и в юности. И пока в России не появились фумигаторы, лупил комаров сложенным вчетверо «Уральским Рабочим» – так что газетные поля покрывались бурыми пятнами.

– Джайны верят, что у каждого живого существа есть душа. Даже у мухи!

Николя поднял вверх свои тощие плечики – и улыбнулся. Муха жужжала над головой Романова.

– Но ты будешь спать в другой комнате, – заторопилась дочь. – Пойдём, я тебе покажу.

В комнатке, прижатой коридором к кухне, помещалась только кровать, застеленная чистым, но ветхим бельем.

Коля за стеной пытался выпустить муху на свободу, и Романов, пользуясь моментом, схватил дочь за локотки:

– Саша, ты попала в секту?

Александра засмеялась, и так стала похожа на Антонину Фёдоровну, что Павел Петрович дрогнул.

– Да что ты, папа! Это не секта, а религия. Николая долго жил в Индии, он исповедует джайнизм уже десять лет. Это очень хорошая религия, добрая. Мы не приемлем насилия, соблюдаем мораль, боимся причинить вред даже самому крошечному существу.

Она достала из кармана такую же точно марлевую повязку, какой давеча щеголял Коля, и сказала:

– Видишь – это мы носим для того, чтобы случайно не проглотить маленькую мошку.

– А ты не могла себе другого жениха найти? – спросил Романов.

– Ну, папа, прошу тебя, не порти мне свадьбу! – топнула ногой Александра, на глазах превратившись из джайнистки в невесту. – Давай, распаковывайся, приходи в себя. А я Николая помогу, и будем чай пить, ладно?

Она вышла из комнатки, прикрыв за собой дверь. Романов посидел на кровати с пять минут, успокаиваясь, а потом раскрыл чемоданчик. Первой на глаза ему попала бутылка водки, завернутая в свитер – чтобы не разбилась.

Романов пил не больше и не меньше любого человека его возраста, долгие годы проработавшего на руководящей должности. Конечно, в памяти хранилось несколько постыдных эпизодов – но у кого таких нет? Антонина Фёдоровна под настроение любила вспомнить историю о том, как Павла Петровича однажды привели домой под руки – Никотиныч и неизвестный краснорожий, в шапке, сдвинутой на затылок. Он, кстати, говоря, так впоследствии и не вспомнился.

– И вот, – рассказывала супруга, – я говорю, иди, Паша, спать, а он меня не узнаёт и пальцем грозит:

– Ну что это вы? Какое «спать»? Домой, домой!

Романов смотрел перед собой – и видел не полки с дочкиными словарями, а разругавшееся лицо жены.

В целом-то, он, конечно, знал свою норму.

Интересно, а Коля пьёт? Водка-то, вроде, не живая.

Павел Петрович достал из чемоданчика пиджак и новую рубашку. Брюки, конечно, измялись – сам он паковал вещи плохо, а домработница аккуратно перед вылетом попросила выходной.

– Саша! – крикнул директор, приоткрыв дверь. – У тебя уютг близко?

– Ты дверь не держи открытой, – напомнила дочь, – мухи налетят. А утюга у нас вообще нет. Мы постельное в прачечной стираем, внизу стоят машины. Одежда у нас такая, что не мнётся. А тебе что нужно?

– Да вот брюки, – сказал Павел Петрович. – Завтра ведь торжество, а я буду мятый, как из одного места. Мать-то у тебя даже носки гладила. И колготки ваши с Анной.

– Ой, папа, будь проще. Никаких особенных торжеств не намечается, распишемся в мэрии, а потом дома посидим, с друзьями. А с брюками давай так сделаем – когда в душ пойдёшь, я их там повешу, и они от горячего пара сами разгладятся. Только ты долго воду не лей, нам потом такие счета придут – не расплатиться!

Брюки, действительно, разгладились – даже «стрелки», заутюженные домработницей, исчезли. Пока Романов принимал душ, на столе в крохотной, почти хрущёвской, кухоньке появился ужин – миска с зелёными ростками, отварной рис и овощи очень подозрительного вида. В кувшине – вода, процеженная через марлю. Оказывается, в Париже тоже есть марля – удивительно! Никола радужно подталкивал тарелки с угощениями поближе к тестю, а тот инстинктивно отодвигался от них, пока не почувствовал, что дальше некуда.

– Ну что, Коля, за знакомство? – спросил директор, открывая бутылку.

Николя перевёл испуганный взгляд на Александру, и она уже в сотый раз за сегодня сказала: «Ой, папа!»

– Ты что! Джайны не пьют алкоголь. У них ... то есть, у нас... приняты очень строгие правила. Почти что аскетические.

Антонина Фёдоровна всегда могла с точностью до секунды сказать, в какой момент муж не выдержит и взорвётся – она насчитала бы уже десять предшествующих симптомов, но её здесь не было, а дочка, пусть и была похожа на неё, как зеркальце, такими навыками не владела. Поэтому и пропустила очевидное: Романов враз налился багрянцем и треснул кулаком по столу, так что миска с ростками упала на пол, перевернувшись в воздухе. Коля закрыл рот ладонью.

– Да что вы надо мной, издеваетесь? – гремел директор, обращаясь не только к злосчастным джайнистам, но и к новому начальству завода, Анне, Валерке, внукам, Люсе и Антонине Фёдоровне, бросившей его наедине с этой новой малопонятной жизнью. – Аскетические они, видите ли!

Он запнулся от злости, и сказал «выделите».

– Папа, ты пей, если хочешь, – сказала Александра, поднимая миску с пола. – Только нас принуждать не надо, окей?

Это холодное «окей» только сильнее разозлило Романова:

– Да как ты смеешь, пигалица, так с отцом разговаривать? На мои средства?, значит, выучилась, и будешь мне разрешать – пить или не пить? Да я тебя спрашивать не стану! У меня не такие, как ты, по струнке ходили! Пятьсот человек в подчинении! А тут, ишь какие, выискались! Муху им, это самое, жалко, а живого человека – уважаемого, в возрасте (у него чуть дрогнул голос) – можно травой кормить? И не выпить?

Романов кричал, сам зверея от своего крика, а Коля с Александрой быстро говорили что-то друг другу по-французски, как бы не замечая краснолицего старика, занявшего собой всю их маленькую кухню целиком. Так люди переговариваются в клубах или на концертах – если источник шума отменить нельзя.

Выполнив «обязательную программу», включавшую в себя краткий обзор жизненных достижений, Романов сник – и залпом выпил полстакана водки. Содранное от крика горло саднило, но по телу разливались приятные, успокаивающие волны.

Он был отходчив – как все несправедливые люди.

– Ладно, это самое, – примирительно сказал он Коле, снова сидевшему с прижатой к губам ладонью. – Не пьёшь – и не пьёшь. А что родители у него, тоже из этой религии?

Александра обиженно сказала, что Николая – сирота. Его родители погибли в автокатастрофе, когда он был ещё совсем маленьким, а бабушки с дедушками с обеих сторон уже умерли.

– Ты, папа, наш единственный родственник. – сказала дочка, и вдруг всхлипнула, став такой похожей на Антонину Фёдоровну, что Романов снова налился багрянцем, но теперь уже от стыда.

– Ну не плачь, Саша, – он погладил дочь по голове и примирительно махнул рукой бледненькому Коле. – Скажи своему, что отец у тебя вспыльчивый, что в прошлом он, то есть я – большой начальник...

Разговор худо-бедно настроился. Александра бойко переводила с русского на французский и обратно. Ростки на вкус оказались не так уж и плохи, да и Колины щёки порозовели.

Выпив и закусив, директор немного расслабился, краснота на его щеках перестала быть пугающей. Квакающая французская речь (Коля то и дело вскрикивал: «Ква! Ква!») заменяла музыку. Романов поневоле сравнивал обоих своих зятьёв, и, пожалуй, впервые в жизни был доволен Валеркой. Да, он тряпка-размазня, но, по крайней мере, не копит мух в квартире, и рюмку водки с тестем выпивает – пусть и жалуется потом на «дикое похмелье». Анна держала мужа излишне строго, поэтому, считал тесть, из него и не вышло особенного толку. Работал он сейчас в какой-то фирме, занимался рекламой – но денег в дом почти не приносил.

– Счета за рекламу оплачивают в последнюю очередь, – оправдывался Валерка, когда Анна устраивала ему очередной разнос. Сама она зарабатывала прилично, директор успел похлопотать – и буквально втолкнул в нотариусы, закрытое сообщество, где почти невозможно найти свободное место. Но Романов был тогда не то, что теперь – с его связями и не такие двери открывались! Он улыбнулся, вспомнив, как пару лет назад, ещё при Люсе, потерял барсетку с документами – забыл в такси. И русский паспорт, и загран – всё пропало, а на другой день у них был вылет в Милан. Романов позвонил знакомому в УВД – и ему тут же выписали новый русский паспорт, и выдали заграничный. Поэтому когда нашёлся тот таксист (честный попался), у Романова оказался двойной комплект документов. Вот такие были связи.

Коля дёрнул плечиком, дослушав перевод истории:

– Я слышал, что коррупция в России перешла все мыслимые границы.

Александра перевела иначе:

– Николая восхищён твоей находчивостью, папа.

– Что-то у него не очень восхищённое лицо, – подозрительно сказал Романов.

– Ну ладно, давайте спать, – сказала Александра. – У нас, папа, не принято ходить ночью – мы можем случайно нанести вред какому-нибудь живому существу.

– Вы, главное, мне вред не нанесите! – брюшко директора добродушно колыхалось, пока Николая убирал со стола тарелки и выбрасывал недоеденные овощи в чёрный пластиковый мешок.

– Джайны не оставляют продукты на ночь, – объяснила дочь. – там могут завестись насекомые, а дальше – ты знаешь...

Романов долго не мог уснуть в эту ночь, вертелся с боку на бок, как мясо на гриле. Замёрз, да и не допил свою норму, к которой привык за многие годы. Встал, чтобы найти в чемодане шерстяной кардиган, зажёл светильник – и вдруг налетел взглядом на картинку, висевшую за дверью.

Её специально повесили так, чтобы не бросалась в глаза – но зря что ли у Романова имелся охотничий билет? Он всё кругом подмечал, вот и гадость эту увидел. Фашистский крест – свастика, над ним – три точки, а под низом – ладонь с непропорционально длинным мизинцем.

Директора ожгло изнутри – он распахнул дверь и гаркнул на всю квартиру:

– Александра!

– Папа, я же тебе говорила, мы ночами не ходим, – раздался из другой комнаты хриплый голосок дочери. – Что там опять случилось?

– Да то случилось, что деды твои не зря своими жизнями на поле боя рисковали, чтобы ты ихним врагам поклонялась!

– А, – протянула дочь. – Ты увидел свастику. Говорила Николая, чтобы на время спрятал – так и думала, что не поймёшь. Свастика, дорогой папочка, у многих народов означает приветствие и пожелание удачи.

– Мне многих народов не надо, – гремел директор. – одного хватит! Ты что ли тоже, как Валерка?

– Папа, если ты не успокоишься, соседи вызовут полицию, – взмолилась Александра. – У нас с ними и так подтянутые отношения.

Раньше директор не замечал, что дочка путает русские слова – и это его по-настоящему расстроило. Не меньше, чем свастика на стене.

– Я это сниму, – сказал Романов уже не так громко. – Я не могу спать, когда на стене висит оскорбление для всей моей страны.

– Хорошо, – согласилась дочь. – Спокойной ночи, папочка.

Романов ещё раз рассмотрел картинку со свастикой – это была, кстати, не картинка, а вышивка меленькими стежками – и заметил, что крест отличается от фашистского: тот был повернут слегка под другим углом.

Но всё равно – мерзость. Он не потерпит.

Снял вышивку со стены и бросил в угол.

За окном торчал месяц – размытый, в дымке. Как будто его пытались стереть ластиком с неба, но бросили это занятие, уснув на полдороге.

А вот к директору сон никак не шёл. Он сел на своем диване и сгрёб подушку в объятия, не подозревая, как похож в эту минуту на героя картины «Иван Грозный и сын его Иван».

Мысли крутились вокруг дочек и зятьёв. Конечно, Валерка лучше Коли – но, может, это только отсюда так кажется. Дома-то Валерка его тоже постоянно расстраивал – свастики по стенкам не вешал, зато президента ругал чуть не матерными словами, и родную страну хаял, и даже над Днём победы потешался:

– Что празднуют, сами не понимают! – говорил Валерка, пальчиком поправляя очки на переносице. Романов всякий раз давил в себе желание ударить его в указанное пальчиком место – по-настоящему давил, толкал внутрь себя, как в молодые годы они толкали пробки в бутылки, когда под рукой не было штопора.

Директор чувствовал, что зять его презирает – хотя и лебезит перед ним накануне пятнадцатого и первого числа каждого месяца. В эти дни Романов обычно выдавал семье дочери деньги – и несколько раз, сердясь на Валерку, урезывал обычную сумму вдвое.

Анна, конечно, выговаривала мужу – но он, как подросток, сколько-то сдерживался, а потом всё равно срывался и начинал ругать власть, начальство, трусливую общественность. Он и был по сути своей настоящий подросток – но при этом отец двоих детей.

А Колю, вообще, не поймёшь.

Романов засопел, вспоминая Антонину Фёдоровну, которая советовала во всём находить хорошие стороны. Вот, например, то, что Александра идёт вслед за мужем, а не пытается его оседлать и пришпорить, как делала младшая дочь со своим Валеркой, это, конечно, неплохо. Может, со временем им надоест вся эта индийская дурь – и чем мух разводите, родят Романову ещё одного внука. Нормального, понятного мальчика – чтобы на рыбалку ходить, зимой – хоккеем, летом – футбол...

Александра, рассказывал подушке Романов, всегда склонялась к вегетарианству – ещё когда они с сестрой были маленькими, Анна грохнула на лестнице мешок с яйцами. Не донесла из гастронома. Александра плакала над этими яйцами, как над живыми людьми:

– Из-за тебя, Анечная, столько цыплят зря отдали свои жизни!

При этом старшая любила читать книжки про испытания, муки и пытки.

Только под утро Романов тяжело вздохнул, выронив совсем уж старческое «о-хо-хо-хо-хо-хо», положил терпеливую подушку под голову и закрыл глаза, засыпая.

Ему приснилось, что он учит дочек рисовать пятиконечные звёзды:

– Начинаем выводить как букву А, но от правой ножки проводим лучик влево наискось, а потом – вправо и вниз, к левой ножке. Вот такая звёздочка получилась! Загляденье!

Свастику они выучились рисовать без него. Дурное дело нехитрое.

Вода

Утром Романов проснулся от запаха – удушливого и тревожного, хорошо знакомого с детства. Мыши! – вспомнил директор и натянул на себя тощее одеяло.

Как будто отозвавшись, по комнате деловито пробежал довольно упитанный мышонок. Он мельком глянул на Романова, но не нашёл его хоть сколько-нибудь примечательным, и проявил таким образом коллегиальность с новым руководством завода.

– Антисанитария, – ворчал Павел Петрович, нашаривая ногами тапки и начисто позабыв, что никаких тапок ему здесь не дали, а свои он как-то не догадался привезти. Не в больницу, чай, ехал – на свадьбу к дочери!

Из кухни пахнуло больничной едой.

– На завтрак – рис! – крикнула Александра. – Давайте, мальчики, скорее!

Павел Петрович предпочёл бы яичницу из трёх яиц с поджаренным чёрным хлебом и докторской колбасой, но решил, что не будет портить невесте настроение. Вместе с Колей, уже побрившимся и всё ещё настороженным, директор сел за стол и покорно съел миску суховатого риса. Пили процеженную

воду, и Романову почудилось, что он начинает чувствовать в ней какой-то вкус.

– А кем работает твой Коля? – спросил директор у дочери.

Александра стала объяснять, что Никола учился на ювелира, в Индии у него была фирма, но потом ему пришлось вернуться во Францию, и здесь он никак не может найти работу. Поэтому живёт на пособие, но оно довольно приличное, так что им хватает.

– А как в твоей школе переводчиков относятся ... ну ... к этим вашим повязкам и метёлкам?

Вчера дочь показывала ему небольшую метёлочку, которую джайны носят с собой – подметают улицу, чтобы не затоптать ненароком какую-нибудь букашку.

– Культурное многообразие никто не отменял, – усмехнулась дочь. – В Европе уважают право на выбор, папа.

Она хотела добавить «Это ж не Россия», но вовремя спохватилась – и промолчала. Не стоило затевать с отцом дискуссий, он всё равно не поймёт. Да и некогда – уже через час нужно быть в мэрии!

Романов удивился, что дочь всё ещё не одета – Анна на своей свадьбе трижды переодевалась, и каждый раз это делалось подолгу, с капризами и нервами. Александра на пять минут скрылась в ванной – и появилась оттуда в бежевых брюках и простой белой блузке.

– Так и пойдёшь? – изумился отец.

– А ты думал, я, как Анька, надену на себя торт из кружев? Мы против бесцельной траты денег.

– Но это же память, – расстроился директор. – И я присылал деньги на платье, я же помню!

Александра чуточку порозовела.

– Мы решили потратить их на нужды нашей общины. Всё, папа! Давай облачайся в свой костюм – и поехали!

Случайные прохожие, видевшие их тем утром, ни за что не догадались бы, что это жених с невестой и её отцом. Коля был в затрапезной рубашке и джинсах, и на этом фоне Александра выглядела почти нарядной – ну а самым разряженным оказался Павел Петрович в добротном синем костюме, белой рубашке и бледно-голубом галстуке. В начищенных туфлях отражалось парижское небо с облаками. Рот у Коли был закрыт белой повязкой, Александра из уважения к отцу сняла её и положила в карман.

У входа в мэрию – красивое здание с башенкой – их поджидали друзья. Такие же точно чуды, как выразилась бы Антонина Фёдоровна. Одеты кое-как, повязки, метёлки, а самый старый из всех, с кожей шоколадного цвета, был завернут в белую ткань, как ребёнок, играющий в привидение.

Работница мэрии и глазом не моргнула, когда эта странная компания вошла в комнату, где Александру и Николаю объявили мужем и женой.

Ни цветов, ни подарков, ни поцелуя – дочь и зять расписались в книге, кивнули работнице мэрии и буднично вышли из красивого здания в свою новую жизнь.

– Папа, наши друзья пойдут пешком, – объяснила Александра. – Джайны не пользуются транспортом, потому что какое-нибудь живое существо может попасть под колёса. Николая – с ними, а мы с тобой поедem. У джайнов не принято осуждать чужую культуру.

– Так вы же только что поженились! – возмутился директор. – И сразу расстаётесь! Не по-людски это, Саша! Давай уж я тоже со всеми пойду.

– Ой, правда? – обрадовалась дочь, в секунду превратившись в юную Антонину Фёдоровну. – Спасибо, папа!

По дороге Александра рассказывала о самом старом госте – он был настоящий монах, и волосы у него на голове были не выбриты, а вырваны с корнями!

– Это настоящий образец аскетизма, и для нас большая часть, что он будет делить с нами трапезу. Впрочем, джайны очень мало едят.

Романов глянул на «образец аскетизма», который шёл впереди, переступая тощими голыми ногами в сандалиях, и с тоской представил себе предстоящую трапезу.

В квартире уже суетились незнакомые девушки – они показались Романову симпатичными, и он попытался втянуть брюшко. Был накрыт стол – миски с овощами, творогом, очередными ростками, вода в кувшинах, плотно закрытых сверху крышками. Ни водки, ни рюмок.

Молодожёны сели во главе стола, Романова посадили по правую руку от дочери. Александра сияла, и с такой любовью смотрела на своего кривобокого мужа, что у Павла Петровича что-то дёрнуло в сердце – как будто пытались повернуть заржавевший вентиль. Вспомнил давнюю бабушкину присказку – «о тех, кто слаще морковки, ничего не едал». Вспомнил покойную супругу – всё бы отдал, лишь бы она сидела сейчас рядом и крепко держала его ладонь под столом: «Потерпи, Паша! Что теперь поделаешь?» Он как будто ощутил кольца Антонины Фёдоровны – они всегда впивались ему в руку, когда она урезонивала мужа.

У молодожёнов были дешёвенькие серебряные колечки. Ювелир-то мог бы и побогаче спроворить, мелькало у Романова, пока симпатичные незнакомые девушки наполняли его тарелку безвкусной едой.

Монах, действительно, почти не ел, зато сказал несколько слов надтреснутым, редко используемым голосом, и склонил голову.

– Это он про тебя, папа! – обрадовалась Александра. – Он рад приветствовать тебя, и поздравляет с тем, что у тебя... такие хорошие дети!

Романов с огромным трудом улыбнулся. Ржавый сердечный вентиль крутили в груди как будто несколько рук сразу. Внутри горел огонь.

Ему был нужен воздух.

И твёрдая, пусть даже чужая, земля под ногами.

- Сашенька, Коля! Мне пройтись нужно. Кружок по району сделаю - и вернусь.

- Но папа, мы только сели, - попыталась возразить Александра.

- Ничего страшного! Поешьте там это самое... Помолитесь, или как оно у вас называется?

- Медитация, - сказала дочь. - Только ты недолго, ладно? Ты же совсем не знаешь город.

- Конечно, недолго. Я сотовый взял, так что не волнуйся. Как это у вас говорят, это самое, на связи?

Не глядя на гостей и улыбаясь всем сразу неестественно широкой улыбкой, Романов вышел из комнаты и забрал из холодильника бутылку.

Директор действительно собирался сделать небольшой круг, точнее - квадрат, обойдя ближайшие улицы и выпив на какой-нибудь скамейке. Но как только он свернул за угол, рядом с булочной, где были выставлены длиннющие батоны, похожие на мечи, остановилось такси.

Первое за всё это время такси в дочкином районе. Водитель приветливо выглянул из окна и что-то спросил.

Романов пожал плечами - не понял ни слова.

Тогда водитель стал делать приглашающие жесты, открывая перед Романовым дверцу.

Директор решил, что водитель его с кем-то путает, и стал мотать головой.

Таксист не унимался и хлопал рукой по сиденью пассажира, как делают маленькие дети, требуя, чтобы мама села рядом.

А что если правда поехать?

Он этого Парижа, вообще, не видел, хоть Эйфелеву башню посмотрит.

Вот и сердце в груди улеглось, как будто перестали крутить вентиль.

- Вези это самое, к башне! – велел директор, садясь и пристёгиваясь.

Водитель рванул с места. Рот у него не закрывался – слова вылетали как орехи из рваного пакета. И все до единого – непонятные. Проще орех зубами раздавить, чем разобраться, о чём он толкует.

- К башне! – пояснял Павел Петрович. – К воде!

Он помнил, что башня стоит на берегу реки. А река всегда – главный ориентир.

- Вода! Буль-буль! – повторял директор, опасаясь, что водитель его не понимает, но он услужливо кивал, ехал и довольно быстро остановился у речки. Речка была узенькой, и никакой башни видно не было. Наверное, ближе не подъедешь – как-никак достопримечательность.

Романов расплатился с водителем и спустился к деревьям, обступившим реку, как любопытные старухи. У изножья каждого дерева – металлический круг, напомнивший директору газовую конфорку, какие были ещё на старой квартире. На одной из «конфорок» лежали свежие собачьи какашки, похожие на сигары.

Башню не видать ни спереди, ни сзади.

Над рекой висел пешеходный мост.

Павел Петрович почувствовал себя изношенным и старым, как холодильный агрегат, которым пользовались несколько поколений семьи, и теперь к нему же предъявляют претензии – с чего это он вдруг сломался, под праздник?

Как будто агрегату есть дело до ваших праздников.

Когда дочери были школьницами, в девчачью моду вошли заколки-автоматы – мать где-то купила такие и Анне, и Александре. Младшая взяла в привычку вхолостую щёлкать замочком своей заколки, и Павел Петрович терпеливо разъяснял ей, что каждое техническое устройство рассчитано на определённое количество использований – рано или поздно оно выйдет из строя.

Вот и человек устроен так же, размышлял директор, глядя на воду – светло-зелёную, как бутылка для кефира.

Под мостом шёл кораблик с туристами – какой-то ребёнок на борту помахал директору, и он вяло ответил.

Карман плаща оттягивала бутылка, похожая на гранату, которой можно взорвать себя и часть мира вокруг, если будет совсем невтерпёж.

Но только часть.

– Отец, закурить не будет? – сиплый голос прозвучал так неожиданно, что директор чуть не выхватил бутылку из кармана – а мысленно уже вырвал чеку.

Бомж. Морда – красная, глаза – стеклянно-синие, и на одном – бельмо. Слегка доработанный флаг Франции – или России. Пахнет от него, не хуже чем от стоячей воды – но ведь по-русски говорит!

И это слово – «отец», такое нужное и своевременное...

– Не курю, – почти с сожалением сказал Романов. – Бросил.

Бомж достал из кармана (если это был карман) коробку спичек и тряпку с завернутыми в неё окурками. Прикурив, задул огонь и бережно сложил обгоревшую спичку обратно в коробок.

Романов никогда не думал о том, что у него может быть нечто общее с бомжами – он считал их наростами на теле общества. Всего один раз, когда они с Люсей отдыхали в Италии, он испытал интерес к бездомной женщине, жившей прямо на пляже, где купались отдыхающие. Днём её никогда не было, на лежаке под выцветшим зонтом оставались какие-то пакеты и коробки. Появлялась

бездомная к вечеру, когда отдыхающие спорили, в какой ресторан пойти ужинать. Она приносила с собой канистру пресной воды, мешок с яблоками, сорванными, по всей видимости, где-то поблизости, и устраивалась на своём лежаке, глядя, как темнеет море, сливаясь с песком и небом. Бездомная была красива, хотя и очень немолода – и в ней жила особенная, изощрённая тайна. Тогда Романов впервые в жизни пожалел, что не знает по-иностранному, и не может поговорить с ней. Предлагать ей деньги было страшно – люди с такими лицами не принимают подаяний.

Ночами на её лежаке горел фонарик, и Романов вглядывался туда с балкона гостиницы, но различал только этот слабый свет – и слышал, как бьётся о берег невидимое в темноте море.

Бомж стоял рядом с директором – заросший до самых глаз мужик, на каких пахать можно, но никто не пашет, потому что «не запрягли».

– Выпить хочешь? – спросил директор, и синие губы бомжа растянулись в страшную улыбку.

Его звали Саней, и он считал себя парижанином. Объяснил, что башню отец здесь ищет напрасно – это не Сена, а канал Сен-Мартен. До башни отсюда пилить и пилить.

– И на кой она тебе сдалась? – смеялся Саня, ловко вливая в себя водку.

Директор рассказывал Сане о том, что он всю жизнь возглавлял завод по производству медных труб.

– Огонь, вода и медные трубы, – понимающе сказал Саня.

Отсюда, из Парижа, директор видел свой завод царством, которое у него отвоевал более удачливый властитель.

Со слезами на глазах вспоминал снабженца Кудрявцева, жаловался на Люсю, тосковал по жене.

Саня предложил директору окурков, и тот добил его с удовольствием, как в детстве.

Допили водку быстро, а темнело – медленно. Но вот зажглись фонари, и в небе взошёл ясный месяц, похожий на спелый банан.

Романов рассказывал Сане про своих дочек, Анну и Александру, про зятьёв Валерку и Колю, про то, что мух давить нельзя, а вот людей – можно.

– Но ведь у них всё было, пусть мы и держали их строго, но всё было, всё! – Романов обхватил Саню за плечи, бомж не возражал. – Когда в новый дом переехали, балкон был такой, это самое, что мать заливала его как каток! Дочки на коньках катались по балкону, где ты ещё такое видел?

Саня божился, что нигде.

Директор плакал, глядя на воду канала Сен-Мартен. Сегодня было много воды – процеженной, стоячей, солёной.

Проклятые руки снова начали крутить в груди железный вентиль.

– Отец, у тебя зво?нит, – сказал Саня, жадно вглядываясь в пульсирующий карман.

Александра.

– Папа, где ты? Я чуть с ума не сошла! Николая весь квартал на три раза обошёл – мы уже хотели полицию звать. Ты почему на звонки не отвечал? Зачем ты так со мной поступаешь?

– Прости меня, доченька, – сказал Романов. – Сейчас приеду, я всё запомнил – станция «Крым», потом налево и ещё раз налево. Деньги есть.

– Ты что, пьяный? – испугалась Александра. – Вот лучше бы, правда, дома сидел!

Павел Петрович нажал отбой – и протянул телефон Сане. Тот бережно спрятал подарок в карман – если это, опять же, был карман, а не дыра в лохмотьях. Они

обнялись и простились, и в тот же миг пошёл дождь из тех, что обрушиваются без предупреждений. Как будто над головой опрокидываются бочки с водой – одна за другой.

Лужи вздулись пузырями.

Директор бежал к метро, но прежде чем спуститься вниз, успел заметить еще одного бомжа – этот человек лежал под дождём на вентиляционной решётке метро. Бомж закрыл лицо одеялом и грелся теплом, которое вместе с шумом дарили ему проходящие поезда.

Казалось, он крепко спит.

Рыба в воде

Повесть

Я жизнь свою в булавку не ценю.

Шекспир. «Гамлет»

1

В общем-то я никогда не сомневалась в том, что счастлива – даже когда всё вокруг убеждало в обратном: да не тихо, вкрадчивым шёпотом, а воплем во весь голос. Какое там счастье, если жизнь разваливается, и ты сама тоже, вполне возможно, вскоре развалишься на куски, но при этом внутри тебя – звенящий ангельский хор... Сумасшедшие счастливы просто от того, что живы. А всем остальным нужны ещё какие-то причины для радости – чтобы повысили зарплату, чтобы перестала мучить совесть и установилась приятная тёплая погода без осадков, но при этом не погиб урожай, и пусть не будет войны, а сына удастся отмазать от армии... Человеческие просьбы засоряют самое вещество жизни, и вот мы уже не понимаем, чему радоваться, а чего – бояться. Мы словно уклоняемся от пуль – но ведь среди них есть и те, что с лекарством.

...Лекарства мне почти не помогали, но стоили при этом таких денег, что муж каждый раз платил за них, зажмуриваясь. Нет ничего хуже разговоров о болезнях – я избегала их, сколько могла, а потом ушла в свою хворь целиком, как под воду с головой. Тогда уже и говорить было не о чем: да и как поговоришь, если кругом вода. Такое странное состояние, – чувствуешь себя чугунной болванкой, не имеющей никакого отношения к живой женщине по имени Таня, и ждёшь момента, когда можно будет оставить неподъёмное тело в квартире, надоевшей до смерти – и взлететь к потолку семиграммовым воздушным шариком, а потом взять курс на восток, выпорхнуть в окно и промчаться над всем Челябинском, глядя сверху на пыльные крыши...

– Что именно вас беспокоит? Где болит?

Наматывали круг за кругом – от терапевта к онкологу, от хирурга к остеопату, веер листочков с направлениями на анализы, липкий от геля для УЗИ живот, лекарства, которые я принимала курс за курсом, и они поначалу, кажется, помогали, но болезнь – или что это было? – научилась обходить препараты стороной, как рыба подводные камни.

– С чего всё началось, можете рассказать?

Мы с мужем были в театре. «Лебединое озеро». Места оказались очень неудачными, но ещё до начала спектакля муж договорился с администраторшей, чтобы нас пустили в ложу. Дима, мой муж, нравится администраторшам, вахтёршам, бабушкам из регистратур в поликлинике – у него немного старомодная красота, именно такие мужчины считались видными в пору юности всех этих бодрых, работающих старушек. «Похож на начальника». На самом деле, Дима имеет весьма опосредованное отношение к начальству – он личный водитель Карла Евгеньевича, директора завода N-маш. Карл Евгеньевич и сам любит посидеть за рулём, но ему такие выверты не положены по статусу – и мой муж, чередуясь со сменщиком Серёгой, возят его по всем делам, как ценный груз. Серёга – маленький и краснолицый любитель пива, классический шофёр, из тех, что полагают: начальство существует для водителей, а не водители для начальства. Поэтому Карл Евгеньевич предпочитает моего мужа, впрочем, его все предпочитают – и я до сих пор не понимаю, почему он выбрал меня, а не какую-нибудь красавицу с местной пропиской.

Так вот, мы сидели в ложе и смотрели, как танцуют маленькие лебеди – сцепившиеся руками крест-накрест маленькие тощие девчонки прыгали по

сцене, как воробушки, и наша соседка по ложе сказала своей подруге:

– Между прочим, это довольно сложная хореография.

Маленькие лебеди допрыгали до нашего края сцены, и я вдруг даже через музыку, поверх её, как будто это были помехи в эфире, услышала их тяжёлое изнуренное дыхание. Рыбы, вытащенные на берег. Танец маленьких лошадей. И вот, в тот самый момент я впервые и почувствовала, – точнее, впервые не почувствовала своих ног. Подумала, виноваты туфли – лодочки на высоких каблуках, которые были надеты сегодня только во второй раз. Я незаметно сняла их, но странная немота не исчезла, а стала подниматься вверх по ногам. Первый акт давно завершился, соседки по ложе исчезли, даже прозвучал первый звонок ко второму акту, а я всё никак не могла встать с места. Дима испугался, сказал – поехали-ка лучше домой, Бог с ними, лебедями и озёрами, но мне было жаль денег за билеты, поэтому мы остались до самого конца. На поклонах я ощутила в ногах мелкую дрожь, и обрадовалась ей, как доброму известию.

Приступ повторился через неделю, на работе. Я – банковский юрист, и должна сказать, что девочка из посёлка Париж Нагайбакского района мечтать не смела о такой должности. Та девочка, с которой у меня теперь не больше общего, чем с любой другой шестнадцатилеткой, выросла в парижской глуши, посёлке-обманке, куда заезжают иногда любопытствующие автомобилисты: нет, ну надо же, Париж! А ещё тут есть Берлин, Лейпциг, Фершампенуаз – подумать только!

Кзаки из кряшенов – крещёных татар, бивуаки которых стояли на Елисейских полях в 1814 году – получили высочайшее дозволение называть свои станицы в честь отвоёванных городов. Предки наших соседей (моя семья не из казаков – крестьяне Муравьёвы, ничего примечательного, ни одной фамильной тайны) вошли в Париж первыми, и прозвище родной станицы напоминало о героической молодости дедов, когда те ловили золотистых доверчивых карпов в Фонтенбло и пугали монмартрских кабатчиков криками: "Быстро, быстро!" Наш Париж – обыкновенный посёлок, каких на Южном Урале сотни, впрочем, с недавних пор здесь есть вышка сотовой связи в виде Эйфелевой башни.

Меня все эти славные истории не занимали: сколько себя помню, столько и мечтала уехать из Парижа, где перед Эйфелевой башней лежат коровьи лепёшки, а школьное крыльцо перекосило ещё в прошлом веке. Я хотела жить в большом городе, где есть асфальт, театры и большие магазины, а не сельпо, где продавщица Ольга в грязном халате торгует и книгами, и луком-севком. Пусть

не Москва, не настоящий большой Париж, всего лишь Челябинск, отделение N-банка на улице Сони Кривой – для меня это всё равно был огромный шаг. Такой огромный, что ноги не справились, и тело, оторванное от родной земли, в конце концов, возмутилось.

Тот приступ во время рабочего дня был много хуже первого, «балетного». Я не смогла встать с места даже когда все начали собираться домой – Мария Марковна спросила, что случилось, а я не могла ничего объяснить, и позвонила Диме. Он вынес меня из здания банка на руках и сразу же увёз в больницу: так началась лечебная эпопея, которая по сей день ничем не закончилась. Мы привыкли к обследованиям, муж теперь уже не уходит из поликлиник с бахилами на ногах, как делал поначалу, но по-прежнему не понимает: почему, за что, как с этим справиться?

В Париже о моей хвори узнали не сразу – мы так бы и не рассказали правду, потому что родителей надо беречь. Папы моего давно нет на свете, а у мамы столько забот – огород, скотина, работа... Не хотелось увеличивать этот список.

Старшая сестра Наташа – у нас с ней разница в одиннадцать лет – приехала той весной в Челябинск, чтобы купить выпускное платье для Евки. Племянница оканчивала школу, и собиралась в Екатеринбург, поступать в театральный. То, что она не взяла с собой Евку, может показаться странным только тем людям, которые ни разу в жизни не видели Наташу, и не имеют понятия о том, как она устроена. Сестра ни разу в жизни ни в чём не сомневалась, она до отказа набита премудростями и ценными советами, которые буквально сыплются из неё на ходу. Ясно, что у Евки не было ни единого шанса самостоятельно выбрать себе наряд для выпускного – к тому же, племянница обожает свою маму и считает, что она обладает изысканным вкусом (сделаем вид, что не помним ту юбку с вырезом до трусов, в которой Наташа отплясывала на моей свадьбе). А жаль, что Евка не приехала – я люблю свою племянницу, к тому же, она притушает бурное Наташино кипение. Сестра крепко обняла меня на пороге, после чего начала последовательно одаривать парижскими деликатесами: огурчики, помидорчики, вареньице ешьте сразу.

– Чего такая бледная, Тань? – спросила Наташа, когда мы с ней уже расставили все банки по полкам, все точки над всеми буквами. – Болеешь?

Я сказала, что плохо спала сегодня, но сестра, ожидающая моей беременности едва ли не больше нас с Димой, сделала хитрое лицо:

- Понятно!

Они с Димой допоздна сидели за столом, а я ушла спать в половине десятого, и утром не смогла встать с постели. Объяснить это сестре можно было единственным образом – самым простым и самым сложным, то есть – сказать правду. Наташа, бесстрашный воин, мой лучший и невыносимый друг, расплакалась, как маленькая девочка. Я даже не догадывалась, что так дорога ей: она из породы однолюбов, не в расхожем смысле этого слова, а в другом, главном, значительном, и я всегда считала, что сердце её одноместное, и там хватает места только на Евку.

Конечно же, Наташа повезла новость в Париж – вместе с выпускным платьем фиалкового цвета, туфельками сорок первого размера (Евка у нас крупная девушка) и кремом для депиляции, каких в Париже до сих пор не продают в связи с полным отсутствием спроса. И вскоре я начала получать письма от мамы – бесконечные, многостраничные письма в конвертах. Мария Марковна удивлялась, глядя, как я открываю конверты из Парижа:

- Неужели ещё кто-то пишет такие письма?

Несмотря на Интернет, который есть в Париже, пусть и не в каждой избе, мама предпочитает старую добрую почту России – да и пишет точно в том же стиле, какого придерживалась её мама и бабушка, высланные на Южный Урал из Пензенской области, как неблагонадежные элементы, зажиточные крестьяне, кулаки. Сначала мама долго здоровается и передает приветы моему мужу, подругам и начальству. Затем подробно рассказывает о погоде и хозяйстве, учениках и парижских новостях (кто умер, кто женился), ну а после приступает к советам – как реорганизовать Рабкрин, то есть, как мне устроить свою жизнь, лечиться и "вести себя в семье".

«Помни, Татьяна, – писала мама, – мужчина любит жену здоровую, а сестру – богатую. Не позволяй болезни нарушить ваши отношения. Терпи, сколько сил есть, а вообще, нужно найти хорошего врача, чтобы он понял, в чём здесь дело. У нас в семье такого не водилось, ногами отродясь никто не мучился – другое дело, если спина или по женской части.

И здесь же, без лирических переходов и растушёвок:

«Я договорилась с Батраевыми, что они дадут нам адрес бабки в Фершамке. Бери за свой счёт, и Дима пусть попросит у начальства по семейным обстоятельствам».

Поселок Фершамка – то есть Фершампенуаз, районный центр Нагайбакского района, – большое село, где при желании можно найти и крем для депиляции, и бабку-знахарку.

В мастерство этой бабки ни я, ни муж не верили – но не смели ослушаться мамы. Даже Наташа на её фоне похожа, скорее, на спящий вулкан: с мамы случилось бы приехать в Челябинск, закатать меня в ковер и увезти на лошади в Париж. За долгие годы жизни рядом с нагайбаками мама тоже стала похожа на казачку – во всяком случае, характером.

Дима сказал, поедem на майские – Карл Евгеньевич улетит к дочери в Европу, банк отдыхает «как вся страна». Не нужно никого просить, никаких «за свой счет» и «по семейным обстоятельствам» – зальём полный бак, и, здравствуй, Родина! Увидеть Париж, чтобы не умереть.

2

Сверкающее майское утро, город ещё не проснулся. Дима развернул карту области, заляпанную синими каплями озёр (будто бы кто-то потрянул над ней кистью – или расплакался) и сказал:

– Слушай, мы сто лет в Париже не были!

Это правда, мы редко бываем на моей родине – и некогда, и не хочется. Я год от года старательно забываю поселковую жизнь. И не люблю, когда спрашивают, где я родилась.

Пока Дима соображал, как укоротить дорогу до Парижа, я достала из сумки вчерашнее мамино письмо. Пропустив – как школьник пропускает описания природы в классическом романе – многословные зачины и добрые пожелания (мама, помимо прочего, питает слабость к восклицательным знакам – и выстреливает зараз всю обойму), перешла к основной части послания.

«Я тут подумала, Татьяна, что все эти твои недомогания имеют в себе причиной метеорит! Ты начала болеть, когда он упал, так ведь?»

Действительно, мы ходили в театр в конце февраля 2013 года – спустя неделю после падения метеорита, когда все знакомые при встречах рассказывали о том, как на них обрушилась дверь, и как в результате взрыва свекровь попала в больницу, а у соседей вылетели все стёкла... Мы отделались легко, даже и в голову не пришло сопоставить падение небесного тела на грешную южноуральскую землю с моим «обезножем», как выразилась опять-таки мама.

«Нужно найти кусочек метеорита, – продолжала она свою мысль, – попроси у Димы, он договорится с кем-нибудь, у кого есть. Возьми этот кусочек, плюнь на него три раза, а потом закопай под деревом в лесу (пусть Дима тебя отвезёт) и прочти молитву».

Спрятала письмо обратно в конверт, не добравшись до финала. Мамина мудрость действует на меня примерно так же, как падение метеорита на экономику Челябинской области.

Доехали до Коркино, откуда лет десять назад Диму забирали в армию. Я смотрела на мужа и думала – почему он не бросит меня? Так поступили бы десять мужчин из десяти... Забеременеть у меня никак не получается, а тут ещё и это... Я бы на Димином месте, скорее всего, ушла от себя – нашла бы какую-нибудь другую жену, молодую, здоровую, с нетронутым запасом живучих яйцеклеток.

– Ты что так смотришь, нехорошо тебе? – заволновался Дима. Перед нами шёл караван тяжелых медленных фур, – и никакого просвета на встречной. Я не умею водить машину, то есть, в теории я знаю все правила, но на практике они мне так ни разу и негодились. Дима много раз усаживал меня за руль, и я какое-то время ехала по прямой, но как только ситуация на дороге начинала требовать включенности, поступка, решения, я тут же бросала руль и останавливалась.

– Ваше место на дороге только в качестве пешехода, – важно сказал инспектор ГИБДД, которому я трижды пыталась сдать вождение.

Фура, что шла перед нами, замигала поворотником и съехала на обочину. Дима перестроился на очень кстати опустевшую встречную и обогнал, как в детской игре, сразу несколько грузовиков и грязенькую «пежо» с екатеринбургскими номерами, которая и держала весь этот караван на привязи, как рыбёшек на кукане.

Мы вырвались вперед, и целый мир лежал перед нами вплоть до Южноуральска, где ремонтировали дорогу. Полчаса стояли у временного светофора, успели выпить чаю из термоса и съесть полпакетика сушек. Ноги мои вели себя вполне прилично – то есть, они в буквальном смысле слова могли меня куда-нибудь вести.

Когда Южноуральск, наконец, остался позади вместе со своим ремонтом, мы полетели по опустевшей трассе. Небо голубело, как озеро, озера синели как небеса. Облака напоминали медуз. По соснам, тянущимся вдоль трассы, хотела провести рукой как по струнам.

И тут я поняла, что не чувствую правую ногу. Хуже того, онемела ещё и правая рука – такое случилось впервые, и если к предательству со стороны ног я уже привыкла и худо-бедно к этому приспособилась, то измена руки выглядела полным концом света.

Облака больше не напоминали медуз, небо могло быть каким угодно, озёр я вообще не видела.

Мы съехали на обочину, включили «аварийку». Дима судорожно искал лекарства в сумке, я трясла правой рукой, как посторонним предметом, не чувствуя ничего, – и в конце концов ударила ею со всей силы о лобовое стекло. Сил моих нет! Вернёмся – найду метеорит и буду плевать на него с молитвой...

– Ты что творишь? – рассердился муж. – Прекрати немедленно! На вот, выпей.

Я проглотила сразу три белых таблетки и две жёлтых, запила всё это водой – часть пролилась на колени. На запястье всё ещё мертвой руки расплывалось красное пятно, в перспективе – синяк.

Мимо, торжествуя, проехал грязенький «пежо», следом, как в кортеже, проследовали шесть фур. Мощные волны сотрясали нашу машину. Минут через

десять Дима спросил:

– Идти можешь?

Я поставила ноги на землю, тело тряслось, как у пьяной. Но вдруг высокий зеленый стебель щекотнул колени – и я это почувствовала! Рука оживала значительно дольше, и я успела дойти – уже одна, по делу! – до ближайших кустов. Комары – медленные, мягкие и грациозные, как балерины, – впивались мне в плечи, и я наслаждалась их укусами, потому что ощущала их. От земли пахло хлебом. Солнце висело над макушкой, как прожектор.

Через полчаса мы снова обогнали караван грузовиков под предводительством «пежо», потом прошёл дождь – весенний, яростный и быстрый – и вот уже указатель «Пласт», а значит совсем скоро – Фершамка и Париж, можно обойтись без услуг заплаканной карты. Машина летела вперёд, туда, где небо распаивалось пополам, как книга прочитанная до середины.

Вдали над Парижем висела громадная синяя туча, – время от времени она вспыхивала раскаленной добела молнией, и это было похоже как если ударишься локтем («нервом», как выражается мама) о самый острый в доме угол.

Позади вновь вырос тот самый «пежо» – он явно собрался нас обогнать, водитель выжимал из своего автомобиля все соки, перестраиваясь на встречную полосу. Дима махнул – обгоняй! Из открытого окна «пежо» свисала рука водителя-победителя – локоть был круглым и чёрным от въевшейся грязи.

Мы въехали в Фершампенуаз, и сразу же остановились – посреди дороги лежала большая лохматая псина.

– Собьёт кто-нибудь! – сокрушался Дима, осторожно объезжая собаку. Псина даже не повернула головы в нашу сторону. Иногда мне тоже хочется лечь на проезжей части – но мужу я этого, конечно, не скажу.

Пролетев Фершамку, тряслись ещё двадцать километров по условно хорошей дороге. Туча лежала над посёлком широкой синей шляпой. Дождя здесь не было, и только молнии по-прежнему вспыхивали – как будто кто-то в небесах махался шашками. Гром раскалывал воздух на кусочки. Девушка-туристка в желтой

футболке обвилась вокруг таблички «Париж» как вокруг шеста в стрип-клубе – позировала для фотографии.

Дима остановил машину на улице Форштадт. Евка бежала к воротам, теряя калоши.

З

Ах, Париж, мой Париж... Всё вспомнилось в секунду, большой каменный город отъехал на задний план. Нет, и никогда не было на свете N-банка, нашей с Димой квартиры, кино, клубов и сети вай-фай. Яркие крыши, палисадники, распираемые сиренью – уже кое-где поржавевшей, процветающей... Ранняя весна была в Париже – в городе сиренью ещё и не пахло. Гуси деловито топчутся вокруг поленницы. Коровы, опьяневшие от воли и воздуха, пьют грязную воду из лужи. Мама с такой силой стискивает меня в объятьях, что я взвизгиваю от боли, и радуюсь этой боли не меньше, чем маме. Наташа кричит из огорода, чтобы мы не копались и накрывали на стол, хотя сама вот именно что копается в земле.

Говорят, был сильный дождь – как из водяных пушек, но теперь небесное войско передислоцировалось, и гром едва слышен – как чей-то стихающий гнев. Мама тащит меня на веранду и крутит во все стороны – будто я новая кукла, которую она собирается купить. Евка ноет, чтобы я срочно посмотрела её новые фотографии. Дима уже в огороде, пытается отнять у Наташи лопату.

– Не так плохо, как я думала, – заключает мама, окончив осмотр. – Но тощая какая, смерть смотреть! Один нос остался. Так что к бабке завтра всё равно поедем, Батраева сказала, её даже батюшка из Магнитки благословляет. Бабка истинно верующая, берёт только продуктами. Икру привезла?

Вручаю маме сумку с продуктами – банки с икрой, колбаса, шампанское, конфеты. Традиционный городской набор.

– Теперь я буду вас кормить! – торжествует мама.

А вот об этом я забыла – и напрасно! Я мало ела и до болезни, а теперь каждый приём пищи – испытание. Готовлю для Димы, но сама глотаю разве что кусочек, и даже его мне всегда слишком много. Маму и так-то легко обидеть – она от

любого слова вспыхивает, как лесной пожар от непотушенной сигареты. Ну а если закрывать тарелку ладонью и пытаться улизнуть из-за стола, не перепробовав всех блюд – это будет обида такой силы, что Эйфелева башня покачнется.

Пытаюсь схитрить:

– У меня диета. Лечебная.

– Ну немножко-то можно нарушить? Чай к матери приехала, не к Матрёне Сидоровне!

Про Матрёну Сидоровну я слышу с детства, но так до сих пор и не уяснила – реальный это человек, или же собирательный образ неумелой неряхи.

Пока Евка накрывает на стол, я сижу на диване и смотрю на старые часы с ходиками, которые прожили в нашем доме значительно дольше меня. Их когда-то давно выдали отцу как премию – я помню, что он ими очень гордился. Там даже есть гравировка: «Муравьёву П.С., победителю соцсоревнования».

Часы, как отозвавшись, пробили четыре раза. И тут же заскрипела калитка, а потом – ещё, и ещё раз. Соседи шли к столу с тарелками, банками и кульками: впереди всех статная тётя Лида Батраева с внуком Коленькой. Коленька тащил тарелку с пирогами на вытянутых руках – и я вдруг подумала, что мой ребенок, который решил не рождаться лет восемь назад, был бы сейчас такого же возраста. Коленька на одни пятерки учится в школе, изучает нагайбакский язык в кружке, играет на баяне в самодеятельности, пишет стихи и делает множество других, совершенно недоступных мне вещей.

Мама – классный руководитель Коленьки, второй его штатный обожатель.

Все рассаживаются за столом и начинают есть: одни – окрошку с пирогами, другие – моё лицо.

Тётя Лида не выдерживает первая:

– В Париже?-то сколь не была, Татьян?

- Года два, - признаю я.

(На самом деле - значительно дольше).

Соседи укоризненно вспыхивают, но мама вступается:

- У Татьяны работа серьёзная, некогда ей.

- Бледная какая, - замечает Рая Ишмаметьева, моя бывшая одноклассница. У неё уже двое детей - она достаёт телефон, и, тыкая в экран пальцами, показывает сына и дочку на ёлке, в лагере и на море.

Рядом с Ишмаметьевой сидит Лиза Иванова - в детстве мы с ней часто бегали друг к другу в гости через улицу. У Ивановых стояла ванна во дворе, и там в жаркие дни была налита холодная вода для купания. Лиза однажды предложила мне освежиться, я, конечно, согласилась - а потом получила от мамы по первое число. И Наташе досталось, что не усмотрела:

- Они там все в этой ванне плещутся, и мужики тоже! В одной воде! Чтоб не смела больше, дрянь такая!

Слово «дрянь» мама произносит как «дрень».

Лиза терпеливо ждет своей очереди, чтобы показать мне снимки своих двойняшек - девочки, Оля и Поля. Лиза делает губами чмок-чмок, а внутри у меня тоненький голос произносит вдруг:

«Чтоб вы все сдохли со своими детишками!»

Я никогда не слышала этого тоненького голоса прежде. Батраева нахваливает собственные пироги, потом плавно переходит к славословиям в адрес Коленьки - мальчик давно привык к всеобщему обожанию, и лишь изредка в глазах его вспыхивает усталая радость.

Дима берет мою руку под столом.

Как много удобного в жизни! Вот эти столы, скрывающие наши руки и ноги, например. Или ещё – правила дорожного движения. Я пыталась однажды объяснить мужу, как совершенны эти правила: лучше не изобрести – как ни старайся. Но он меня, по-моему, не понял.

Тетя Зина и дядя Володя Комаровы сидят за другим концом стола – и я исподволь разглядываю постаревшего, но все ещё красивого дядю Володю. Он был первым мужчиной, к которому меня потянуло физически – но я тогда не поняла, что за напасть такая происходит, и пряталась от Комаровых целую зиму. Даже здороваться перестала. Дядя Володя ничего такого не делал, просто входил в избу – и у меня дыхание срывалось, а ноги начинали дрожать. Сейчас смешно вспомнить, но Диме я про это тоже рассказывать не буду.

Лиза и Рая так смотрят на моего Диму, что тоненький голосок внутри затихает – я его больше не слышу. Они таких мужчин только в сериалах видели – пусть даже слегка устаревших, вроде «Санта-Барбары», которую мы в детстве смотрели не дыша. Иванова даже школу прогуливала, чтобы захватить утренний повтор!

Тётя Лида Батраева, тем временем, чувствует, что застолье идёт не так, как она себе представляла. На пироги налегает только Дима, да и Коленька, незаслуженно забытый, молчит, как игрушка с подсевшими батарейками.

– А ну, Коленька, сыграй!

Откуда-то волшебным образом появляется баян – как рояль из кустов – и вот уже над крышами Парижа летит, переливаясь каждой нотой, вальс «На сопках Маньчжурии».

Мама разливает чай по щербатым чашкам, Евка расчёсывает комариный укус на ноге, и Наташа бьет её по рукам: ты что, с ума сошла? Скоро последний звонок, хочешь с синяком на ноге красоваться?

Меня клонит в сон – это от таблеток, и, кстати, нужно принять ещё три белых и две розовых. И одну, самую мелкую, на ночь.

Спать мы ложимся в сенях, здесь прохладно и пахнет сушеными травками. Дима обнимает меня, и я засыпаю крепким лекарственным сном без сновидений.

– Татьяна, подъём! – кричит под окном мама. Окна в нашем доме с недавних пор пластиковые, и выглядит это смешно – как деревенская старушка в очках PRADA. Но мама обновой, конечно же, очень гордится. Диму подняли затемно: мужик приехал, должен помогать, налаживать, выравнивать, копать, колоть, переносить, выкорчевывать, отвозить, подсоблять и так далее.

После завтрака – разве что чуточку менее обильного, чем ужин, – мы, наконец, грузимся в машину. Я до последнего надеялась, что мама останется дома, но у неё есть свои собственные просьбы к могущественной фершампской бабке. Зовут её, как выяснилось, не по-бабошному – Аврора Константиновна.

– Метеорит не нашли ещё? – деловито интересуется мама, пристегиваясь ремнем так ловко, как у меня в жизни не получалось.

– Давно нашли, – пытается пошутить Дима. – В музее выставлен.

– Да я про другое! – мама начинает объяснять процедуру излечения при помощи метеорита заново – теперь уже для Димы. Голос у неё громкий, как у любой учительницы со стажем.

За окном проплывает Эйфелева башня, светло-серая конструкция, «в ногах» которой, как семечки, просыпана стайка подростков. Париж давно проснулся, день не слишком жаркий – то, что надо для работы. Вся страна отдыхает: самое время трудиться.

Когда приезжаешь в те места, где жил ребёнком, то ищешь встречи с самой собой. А находишь высоченное небо, степные травы, медленную реку Гумбейку, белёные дома с голубыми ставнями...

Жаркий дух парижских трав влетает в окна. Наташа болтает не хуже радио, эта поездка в Фершамку для неё – целое событие, приятная пауза между огородом и школой, где сестра преподаёт информатику. Евка вздыхает – ей хочется рассказать мне свои новости, но это невозможно, Наташину речь не остановишь. Сестра трижды обходит по кругу каждую тему, возвращаясь к началу, – и кладёт

словесные кирпичи так тесно, что другому человеку лучше сразу же спрятать подальше свой мастерок: не втиснешь ни словечка!

– Наташк, не галди! – просит мама, и сестра обиженно замолкает. Обиды хватает ровно на три минуты, а мы, тем временем, уже в Фершампенуазе, и Дима сверяет адрес, записанный на бумажке тетей Лидой Батраевой с табличкой на угловом доме. Дом – недалеко от церкви, мама считает это хорошей приметой.

У меня, конечно, именно сегодня нет никаких приступов – а ведь бабка, наверняка, потребует предъявить симптоматику. Она вырастает на крыльце за секунду до нашего появления. Старуха как старуха: русская, в платке, с калёным южноуральским загаром на лице и руках. Полноватая, но крепкая, а глаза – молодые и очень светлые, как будто невидящие.

– Вы куда таким табором? – кричит она нашей компании, топчущейся у ворот как давешние гуси. – Приму только больную.

И машет мне – заходи, а ведь видит всех нас впервые в жизни.

– Так ведь Аврора Константиновна, – настаивает мама, – мы поддержать её хотели, и тоже посоветоваться!

Бабка круто разворачивается и как будто стреляет по маме в упор:

– Приму! Только! Больную!

Мама покорно загружается в машину, но уже через миг выскакивает из нее и кричит:

– Татьян, продукты возьми!

Но мы уже в доме – бабка захлопывает дверь, и, мне кажется, ещё и сплевывает на пол от злости.

Здесь темно и почему-то холодно, как в погребке. Аврора Константиновна ведёт меня в дальнюю комнату, где все окна зашторены, а вместо лампы горит подсветка длинного самопального аквариума. За стеклом мечутся рыбы – я не разбираюсь в породах и названиях, но сказала бы, что это золотые рыбки, которым не удалось вырасти до заданных природой параметров. Они с мизинец величиной, и в аквариуме их целая стая.

Аврора Константиновна усаживается за стол, покрытый поверх клеёнки (мама произноси это слово как «клеянка») ажурной скатертью, вязаной крючком. Мне она велит сесть напротив, и какое-то время разглядывает мое лицо так пристально, что я чувствую движение её взгляда. Как будто она касается моей кожи пальцами.

Хихикает:

– Всё с тобой ясно, милая. Никакая ты не больная, ты у нас – помирающая. Давно смерть зовёшь?

Я молчу.

Аврора Константиновна резко обтирает губы двумя пальцами, как часто делают старухи – будто снимает улыбку с лица. Меня пугают её повадки – она и так-то не слишком нормальным делом промышляет, а с этими смешками, с этими жуткими словами о том, что я будто бы зову смерть, картинка получается попросту безумная.

Встану – и уйду.

Поднимаюсь на ноги, но они меня не удерживают, и я очень медленно, как будто с большой высоты, падаю на пол.

Бабка и не думает меня поднимать. Хуже того, она снова хихикает:

– Видала я таких как ты. Жисть надоела, а как с её уйти, они не знают – вот и мучают близких, и тело своё мучают. То нога нейдёт, то рука неймёт.

– Помогите мне встать, – прошу я. Кисточки дурацкой вязаной скатерти раскачиваются надо мной, как что-то уже виданное когда-то давно. Очень давно... Виданное, привычное, любимое. Родное мамино лицо, ласковый взгляд...

– В колыбели себя вспомнить – дело нехитрое, – смеётся бабка. – Вставай с полуту, чего разлеглась?

Я опираюсь рукой о половицу и поднимаюсь.

– Это у вас метод такой, с оскорблениями? – спрашиваю старуху, а она вдруг отвечает серьёзно:

– Ты сама себя обскорбляешь, никто другой здесь не нужен. Ангела обижаешь – а вон он у тебя какой хлопотник. Заботник! Такую дурь удумала – помереть при здоровом теле, при муже, какого люди с детства своим девкам вымаливают, да вымолить не могут, а тебе дали – и опять не сладко. Опять не хорошо!

– Да вы даже не спросили, какой у меня диагноз!

– А зачем он мне? Ты и сама его не знаешь, и врачи не ведают. Я тебе сейчас скажу диагноз – называется он дурь на ровном месте. Ну не можешь пока родить – так дай своему ангелу время. Он похлопочет, будет у тебя дочка, или парень, я пока не вижу – мутное там у тебя все. Не любишь свою жизнь – а пока ты её не полюбишь, какое тебе дитя? Сама ты ещё дитя, жестокое, несчастное... Зачем чужим детям проклятья шлешь? За что к матери столько лет не приезжала? Мужа для чего испытываешь – разве не видишь, он для тебя любую жертву принесет? Но и у него терпения – на копейку осталось.

– А что я сделаю, если ноги не ходят? Вы думаете, я их своей волей отключаю? Новости медицины!

– Никаких новостей здесь нет, – вздыхает бабка, и тут же, как будто вспомнив о смешном, хихикает. – История известная. Дай-ка банку – вон с той полки.

Я поднимаю руку – и действительно, задеваю рукой целую полку с пустыми банками.

Бабка опускает банку в аквариум, как ведро в колодец. И вот уже там мечется золотисто-белая рыбка – ошарашенная не меньше, чем я.

– Вези в город, – говорит бабка, – смотри на нее каждый день, и всё поймешь. Не сделаешь так – к следующей весне схоронит тебя твой Дима. И памятник поставит – с элементом метеорита.

6

На пути к выходу Аврора Константиновна дряхлая с каждым шагом. Вот только что рядом со мной сидела пусть и очень немолодая, но при этом полная сил женщина – а на солнечном свете она обратилась вдруг древней старухой. Морщины врезаны в лицо, как шрамы. Трясущейся рукой старуха перекрестила меня и шепнула что-то в сторону. Евка крикнула из машины, что мама с Наташей пошли в кафе «Бонсуар» – там работает чья-то сватья.

– А мы остались, чтоб ты нас не потеряла! Бабушка сказала, она следующая пойдет. Сейчас я сбегая, позову!

– Не бежи! – махнула рукой старуха. – Всё у ей хорошо, пусть говорит меньше, и слушает больше. Так и передайте.

Евка вытащила из машины пакет с продуктами – и я попыталась всучить его старухе, но Аврора Константиновна покачала головой в несомненно отрицательном смысле:

– Еды у меня в досталь. А вот услугу оказать попрошу. Поедете в город, сделайте крюк до Аркаима. Там у меня внучек работает, экскурсии ведёт. Отвезёте ему письмо.

И сунула мне в руку конверт.

Мама, прибежавшая через пять минут после того, как дверь в старухин дом закрылась без всяких разночтений. Долго возмущалась:

– Мне о ней другое рассказывали! Что внимательная, готовая помочь... К ней же все наши, с Парижа?, переездили – и никогда не было, чтобы отказалась

принять! И зачем она тебе рыбу дала, Татьяна, что с ней делать? Съесть или выпустить?

Успокоилась мама только в Париже. Уже почти без крика рассказывала, что Аврора Константиновна появилась в Фершамке два года назад – унаследовала дом от старшего брата, который жил бирюком. И что не сразу раскрылся этот её особый дар. Брехливые собаки у бабкиного дома смолкали, а младенцы начинали улыбаться, даже если только что плакали навзрыд. Кто-то спросил совета, Аврора Константиновна помогла, и всех с той поры принимала. Но никогда, говорила мама, и никто не рассказывал ни о каких рыбах, и не предупреждал, что старуха такая вздорная.

Евка – и даже Наташа! – пришибленно молчали. Племянница держала на коленях банку и поглаживала стекло, а рыбка, как будто чувствовала ласку, притихла и только шлепала иногда губами, как девушка, мечтающая о поцелуях.

– Как ты её назовешь? – спросила Евка.

– А нужно как-то называть? – удивилась я. – Это же просто рыбка.

– Пусть будет Лаки! Так нашего кролика зовут. И рыбке подойдёт!

Мама забила багажник банками с компотом, который они не успели выпить за зиму, Наташа так крепко обняла меня, что все внутренние органы, кажется, сдвинулись с места. Евка шепнула: «Позвони!»

И вот уже Париж бежит, провожая меня в своей невозможной красе.

У таблички с названием позировала очередная девушка. Дорогу нам перебежала птица – и это было странно: ведь птица умеет летать. Может, у неё отнялись крылья, и она мечтала о смерти под колёсами?

Дима в очередной раз свернул в сторону Фершампенуаза – на трассу можно было выехать только там.

– Аркаим совсем не по пути, – с досадой сказал он.

Лаки, кажется, уснул в своей банке – впрочем, я не знаю, как спят рыбы, и спят ли они вообще. Никогда этим не интересовалась. Точно так же я никогда не интересовалась Аркаимом, и не стремилась там побывать. Сюда стекаются чудики со всех концов необъятной, но смотреть здесь, как я успела понять по фотографиям и рассказам причастившихся, особо нечего. С тех пор, как в Аркаиме нашли следы древнего – невозможно представить себе, насколько древнего, какие-то страшные тысячи лет – поселения, сюда началось паломничество любопытствующих, а потом какой-то астролог заявил, что это родина древних ариев, и что именно здесь проживал (и говорил) Заратустра. Между прочим, в Париже тоже нашли что-то подобное – не то могильники, не то остатки колесниц, – но денег на добротное археологическое исследование найти не сумели, и закопали находки обратно, до лучших времён.

Сейчас в Аркаим приезжают, в основном, свернутые на энергетике с эзотерикой люди – они загадывают желания на горе Шаманке, просят любви на горе Любви и восходят босиком на гору Разума. Экскурсию к останкам поселения древних, так и быть, ариев, заказывает далеко не каждый – но Юра, внук Авроры Константиновны, проводит именно такие экскурсии.

Мы приехали в заповедник к часу дня – прямо за парковкой разлилась широкая лужа, похожая на озеро. Дима нёс меня через это озеро на закорках – прижимаясь щекой к тёплой спине мужа, я думала: «Вот так и езжу на тебе всю свою жизнь!».

Рядом с домиком, увешанным объявлениями «Горн счастья!», «Продаются поющие чаши» и «Не трогайте змей руками!» сидел охранник, одуревший от скуки и жары.

– Нам бы Юру увидеть, – сказал муж, но страж заповедник ничем не мог нас порадовать – сейчас все обедают, Юра появится ближе к трём, к началу экскурсии.

– Погуляйте пока, – любезно предложил охранник, обведя широким жестом выцветшую землю вокруг домика. Вверху на холме шагали по кругу и заряжались энергией маленькие фигурки.

– Хуже точно не будет, – заявил Дима. И мы пошли, вдыхая жаркий банный воздух, к Шаманке. Лаки с его банкой я оставила в машине, надеясь, что он не

помрет раньше времени. А впрочем, мне было все равно.

У подножия горы сидел мужчина в панамке – торговец книгами о мощном энергетическом потенциале Аркаима. Две женщины с озабоченными лицами выбирали из кошельков монеты, чтобы "дать без сдачи". Мы с Димой полезли в гору: под ногами хрустели осколки яшмы, в воздухе висел крепкий запах полыни.

– Ты как? – спросил муж, когда мы добрались примерно до середины подъема, и маленькие цветные фигурки на вершине превратились в людей, сосредоточенно наматывающих круги по спирали, размеченной камешками. Отсчитаешь нужное количество кругов, а потом – вставай в центре спирали и качай энергию. Из любопытства мы прошли один такой круг и встали посередине, глядя сверху на Аркаим. Будто бы «древние» мазанки, палаточные городки, будки туалетов, о которых сложена песня "Ты узнаешь её по запаху" и бликующую на солнце ядовито-желтую пирамиду, выстроенную на краю этой странной вселенной. Меня шатало то ли от усталости, то ли от ожидания чуда, которое все никак не происходит – но при этом томит меня, мучает возможностью, изводит надеждой. А может, это шальная энергия изливалась из космоса прямоком на темечко горе Шаманке, и задевала меня по касательной.

Когда спускались вниз, под ногами снова хрустели осколки яшмы.

Время ползло как тот дождевой червяк, которого я видела на прошлой неделе – он стекал по асфальту как медленный ручей, с каждым преодоленным сантиметром приближая смерть под каблуком. Дима проголодался. Мы взяли в столовой два комплексных обеда, и я съела салат из огурцов почти полностью, а муж, как обычно, доел за меня остальное. За соседним столиком сидел худенький смуглый юноша в зеленой футболке – браслеты на запястьях, серьга в ухе, волосы собраны в хвост. Похож на индейца: узкое лицо, губы, непривыкшие к улыбке, в чертах монументальность, в жестах – готовность к мгновенному действию. Мне тридцать два года, и когда я встречаю людей моложе, то всегда чувствую к ним противоестественную (а скорее – вполне естественную) ревность (а скорее – зависть). Они могут столько всего изменить в своей жизни – раствор ещё не схватился, все двери открыты...

Юноша уничтожал такой же точно комплексный обед, как и у нас – было видно, что к еде, как и ко всему прочему в своей жизни он относится серьёзно. Не знаю, что на меня вдруг нашло, – может, правда, перебрала энергии, – но я

догадалась, что это Юра, внук Авроры Константиновны. Слишком уж своим он выглядел в этой столовке, где скучающие подавальщицы и посудомойки собрались у дальнего стола и галдели, как чайки. Но я не решилась задать ему вопрос сразу же, а потом он допил компот – и ушёл, даже не взглянув на нас. И то правда – чем бы мы его заинтересовали?

Время-червяк доползло до нужной отметки.

– Может, сходим на экскурсию? – осторожно предложил Дима. – Если ты не слишком устала...

7

Желающих увидеть раскопки Аркаима было не много – группка женщин в цветастых платьях стояла вокруг высокого и очень нескладного мужчины в рыбацкой шляпе. Тихо, но непреклонно подвывал чей-то ребенок, осатаневший от жары. Все, включая нас, размахивали купленными билетами, как веерами. Появился экскурсовод – тот самый индеец. Юра. Хотела отдать ему конверт сразу же, но лицо Юры было таким строгим, что я не решилась вытряхивать его из этой строгости упоминаниями о личной жизни, бабушке и поселке Фершампенуаз. На меня часто нападают приступы робости, когда я в буквальном смысле слова не могу открыть рта и попросить, например, чтобы разменяли пятьсот рублей. Не могу – и всё. Пусть лучше Дима вручит конверт в конце экскурсии, и дело с концом.

Юра шёл впереди, офлангованный мужчиной в рыбацкой шляпе с одной стороны, и самой цветастой из женщин – с другой. Оба всячески старались произвести на экскурсовода впечатление своими знаниями древней истории: мы с Димой шли следом и ловили эти знания на лету, как отличники в школе. Лесная тропа, комары, муравьи, пересекающие дорогу живой нитью – Юра затормозил перед этой нитью и бережно перешагнул через неё, а вдохновенно токующий мужчина в шляпе раздавил часть каравана своим гигантским ботинком. Показалось поле – такое вполне себе колхозное, с грязной разъезженной дорогой, где там и сям попадались смачные коровьи лепёшки.

– Откуда здесь это? – возмутилась цветастая женщина. – Заповедник ведь...

– Местные пасут, – сказал Юра. – Ничего не можем сделать.

Мужчина в шляпе, оглядываясь на нас в поисках поддержки и восхищения, сообщил, что вообще-то живет в Москве (здесь была выдержана пауза, чтобы мы могли оценить это известие по достоинству), но давно мечтал увидеть Аркаим, и так рад, так рад, что он, наконец, здесь...

Впереди появилось что-то похожее на раскопки – как сказал Юра, это один из типичных домов Аркаима, где жили сразу несколько поколений одной семьи. Рассказывал он интересно, и как-то очень быстро перенес нас в давнее прошлое, когда по степи носились табуны диких лошадей, а привыкшие к набегам кочевники укрепляли свои города, даже если им на протяжении многих десятилетий не угрожала опасность.

Солнце светило в упор, женщины разлеглись на земле поодаль и загорали, задрав цветастые юбки до трусов. Стихшему ребенку выдали что-то умиротворяющее – судя по всему – телефон с компьютерной игрой: Юра вздрагивал от электронных попискиваний, но не терял нить повествования. Мужчина в шляпе изнывал, ожидая, когда можно будет задавать умные вопросы. Дима шепнул, что отойдет на минутку – да, заповедник, он всё понимает, но приспичило, значит, приспичило. Я была в прошлом – вместе с Юрой и древними ариями. Смотрела сквозь сощуренные веки на место бывшего колодца (и видела колодец!), на следы несущих столбов (и видела столбы), а потом зрение вдруг выключилось, женщины вскочили на ноги, ребёнок выронил телефон с игрой...

Юра моментально всё понял – и пока мы крутили головами, побежал на крик. Бледный Дима широко разводил руки, как рыбац:

– Вот такой величины дрянь! Зубы сантиметра по три, не меньше. Я ж думал, на гвоздь накололся – но откуда тут гвоздь? Удар, как шприц воткнули!

– Нужно отсосать яд, – сказал Юра. – Давайте, это срочно! Гадюка, по следам вижу.

На голени у Димы вспухали две красные точки.

– Толщиной с мою руку и длиной с метр! – повторял муж, пока Юра оказывал ему первую помощь. Ребёнок снимал происходящее на телефон, пока москвич не

сделал его матери замечание. Мать огрызнулась, но телефон у пацана забрала, и тот заверещал на всю степь.

– В больницу, срочно! – сказал Юра. – Есть кому отвезти?

– Есть, – сказала я прежде, чем Дима успел ответить. Он слабел на глазах, зато меня распирало от внутренних сил.

Лужу на въезде мы кое-как перешли вброд, Юра усадил мужа на пассажирское место.

Я помнила, как снимать с ручника, жать на газ и рулить. У нас коробка-автомат, даже я справлюсь, что бы там ни говорил тот гаишник. Вот и рыбка Лаки на заднем сиденье согласно шлепает губами в своей банке.

Юра сказал, что до ближайшей больницы – километров сорок. Объяснил, как ехать.

Я повернулась, чтобы проститься с ним – и почувствовала, как в кармане шелестит конверт:

– Забыла! У нас же письмо от вашей бабушки, из Фершамки!

Юра нахмурился:

– У меня нет бабушки в Фершамке. Вы меня с кем-то перепутали!

Не было времени выяснять. Я тронулась с места, заглохла, и снова запустила мотор. Машина неловко выкатилась на дорогу, и я уже ни о чем больше не думала, – только крутила руль и давила на газ. Хорошо, что на дороге в тот час почти не было транспорта.

В общем, оказалось, это не так уж и сложно – вести машину, если с тобой рядом умирает человек.

Как потом стала говорить моя мама, «Наша Танька за рулём – как рыба в воде!»

С недавних пор в нашем отделении банка – новый управляющий, на редкость красивый мужчина. Отказать такому невозможно ни в чём, и он, говорят, этим вовсю пользуется. Но я его вспомнила совсем по другой причине – ходили слухи, что в прошлом у шефа – тюремный срок, привет из дерзкой юности. Я считала, что это просто слухи, пока не услышала из его уст слово «больничка» – в телеэфире, когда речь шла о спонсорской помощи отделению лучевой терапии! Слова, а вовсе не поступки выдают всех нас с головой. Так вот, то место, куда я привезла Диму, было «больничкой» в прямом смысле слова: крохотное двухэтажное здание, собака на цепи и врач с похмелья.

– Как себя чувствуете, больной? – спросил он у Димы.

– Как лом проглотил, – прошептал муж.

Врач вкатил Диме укол от столбняка, и стал зачем-то перевязывать ногу – очень сильно к тому времени распухшую.

– Послушайте, я, конечно, не разбираюсь в медицине, но, по-моему, перевязывать нельзя! Утраченная робость молча смотрела на меня откуда-то издалека выпученными глазами.

– Девушка, – раздражённо сказал врач, – мне виднее. Едьте в свой Челябинск и записывайтесь на прием в хирургу. «Скорую» не надо, жить будет!

Я к тому времени успела позвонить Диминому сменщику Серёге – и выяснить, что он чудесным образом не успел ещё выпить сегодня. Сказал, приедет – и чтобы я не вздумала ехать за рулем сама. Одно дело – от Аркаима до больнички, другое – трасса до Челябинска.

Насквозь мокрый от пота Серёга явился поздно к вечеру – Дима лежал на заднем сиденье, нога была фиолетовой, место укуса раздулось и стало похоже на воздушный шар. Позвали местных парняг, – те помогли перенести мужа в Серёгину машину и обещали присмотреть за нашей до завтра. Серёга посулил им бутылку и ещё какую-то городскую радость, если всё будет нормально (парняги поняли его в одном смысле, я – в другом).

Глубокой ночью санитары затаскивали Диму на носилках в хирургическое отделение главной городской больницы, и кто-то кричал:

- Принимайте укушенного!

- Да у нас тут каждый день поступают такие... укушанные, - не вдохновился дежурный врач, думая, что привезли очередного наркомана. Тут я возмутилась:

- Как вы смеете! Его гадюка в ногу ужалила!

Врач подскочил на месте:

- Где, покажите мне? Господи, какой идиот вам перевязку сделал?

...Дима пролежал в больнице больше двух месяцев. То светло ему было, то темно, то трясло, то тошнило. Ходить без костылей он начал только в августе - но опухоль с ноги никак не спадала. Завод оплачивал больничный, и я сначала хотела уволиться из банка, но меня отговорила Мария Марковна.

Когда Диму выписали, я в первый раз за все эти месяцы осознала, что хворь моя давным-давно не появлялась. Некогда было, честно сказать, об этом думать - вообще ни о чём не было времени думать, потому что жизнь согнула меня в кольцо и покатила это кольцо по дороге весело, как играющий ребенок.

Змея в два счёта вычеркнула из нашей жизни всё, что было важным раньше: бесплодие, мытарства с диагнозом... Одна-единственная змея - и жизнь меняется полностью.

9

Тогда, в мае, когда мы с Серёгой уже под утро вернулись из больницы, мне больше всего хотелось вылить воду из банки в унитаз вместе с рыбкой. Серёга обещал завтра же (слушай, уже сегодня же!) перегнать машину из Аркаима - поедет вместе с приятелем, который потом сядет за руль, и не примет за свою услугу ничего кроме банки компота из багажника. Я кивала и слушала, не понимая, о чём он толкует, и почему не уходит. Потом догадалась - Серёга

голодный, а жена его, он сто раз уже говорил, уехала на майские в Екатеринбург. Пожарила яичницу с колбасой, сварила макароны – Серёга, хоть маленький и тощий, ел с большим аппетитом. И как только тарелки опустели, распрощался.

Мы с Лаки остались вдвоём – я смотрела на него сквозь стекло, и он разевал рот, как будто бы пел для меня, но на самом деле, он, конечно же, тоже хотел есть и демонстрировал это единственным доступным рыбе образом. А у меня не было специального корма – да и вообще, я не кормить его хотела, а утопить в унитазе.

Интересно, это он или она – как у рыбок определяют пол?

Когда происходит что-то очень плохое, нужно прежде всего уничтожить все напоминания об этом – стереть из телефона звонки, удалить фотографии, выбросить вещи, которые как-то связаны с тем, что случилось. Я всегда так поступала – и убить эту рыбу, из-за хозяйки которой мы попали в Аркаим, вполне правильное с моей точки зрения дело.

Лаки (будем считать его мальчиком – я и детей наших видела только мальчиками, и тот, кто раздумал родиться у меня восемь лет назад, тоже не был девочкой) смотрел прямо на меня, уткнувшись в стекло и шлёпая губами. Мы были с ним одни – и он полностью зависел от того, что я сделаю.

Или не сделаю.

Я отщипнула крошку от недоеденного Серёгой куска батона, и бросила в банку. Лаки тут же проглотил эту крошку. Посмотрел на меня с благодарностью.

На другой день по дороге из больницы я зашла в зоомагазин и купила маленький аквариум, в каких обычно держат улиток – к нему прилагались продолговатая лампа и фильтр для воды. Продавщица, расстроенная моими ничтожными познаниями в аквариумистике, посоветовала помимо баночки с кормом приобрести грунт и пару зелёных кустиков («Чтобы рыбке было чем заняться!» – клянусь, она так и сказала). Дима лежал в палате интенсивной терапии, а я покупала всю эту ерунду и чувствовала, что поступаю абсолютно правильно.

Аквариум – чужая жизнь за стеклом: ты наблюдаешь её изо дня в день, но не можешь понять и постигнуть. Безмолвие маленького существа, и вместе с тем –

его основательность, отсутствие сомнений в том, что жизнь стоит усилий... Я смотрела, как Лаки рассекает воду плавниками – и думала: достаточно вытащить его на воздух, и он тут же умрёт, но в этой маленькой водяной тюрьме готов отбывать свой рыбий срок до конца. Сколько, кстати, проживёт такая рыбка? Год, два?

Дима, вернувшись домой, удивился, когда увидел на полке аквариум и деловитого Лаки, шныряющего между веточками водорослей:

– Совсем о нём забыл!

– Ты не против?

– Главное, чтобы не змея, – отшутился Дима. Серёга, который заехал к нам тем же вечером с пивом, рассказал уместную, как ему показалось, историю про змей (нам теперь все рассказывали истории про змей). Брат чьей-то жены или сестры (этого никогда не понять, во всяком случае, в Серёгином изложении) завел дома террариум и поселил там громадную змеюку, кормить которую следовало исключительно мышами. Оказывается, замороженных мышей можно купить в специализированных магазинах. Мышиные тушки брат жены или сестры хранил в морозилке, и всё было в порядке, пока к нему не приехала мать или невеста (здесь снова – разночтения), пожелавшая сделать обед своему любимому сыну или жениху. Открыла морозилку, нашла мышей – и упала в обморок. Сотрясение мозга!

– Змею в террариуме она, конечно, не заметила? – съязвил Дима, но Серёга не обиделся, всем лицом переживая свою историю, мысленно оттачивая детали для будущих исполнений.

– Между прочим, следующий год – Змеи, – сказал Серёга на прощанье.

10

Письма из Парижа приходили каждый месяц. Мама рассказывала новости – Евка провалила экзамены в театральный, и устроилась работать в какой-то екатеринбургский общепит. Касса номер три свободна, вам с собой или здесь? Собиралась штурмовать институт в следующем году – она не из тех, кто

запросто расстаётся с мечтами.

Кроме того, в письмах были советы, как «выхаживать» Диму, рецепты мазей и слова молитв, которые нужно читать над местом укуса дважды в день. Опухоль полностью не исчезла, хотя Дима давно вышел на работу – к большому облегчению Карла Евгеньевича. Что мы только не пробовали – веер листков с направлениями на анализы, липкий от геля для УЗИ живот, лекарства... Как будто заново играли в позабытую игру где нет ни правил, ни условий – важно только участие.

Дни шли, месяцы – летели, год спешил к финалу, торопясь, как уроборус, укусить себя за хвост. В декабре в нашем отделении устраивали корпоративное торжество – на улице Сони Кривой плотно стояли машины, как лодки, вытасщенные на берег.

Сотрудникам разрешили взять с собой супругов, что бывает редко. Дима не упирался, и потому мы пришли на вечеринку вдвоём – он всё еще заметно хромал и носил не по моде широкие брюки. Мария Марковна села рядом с нами, и когда в поздравлениях звучало упоминание Года Змеи, всякий раз вздрагивала с сочувствующим видом, как будто осуждала бестактность ведущего. Она тоже была с мужем – симпатичным немолодым дяденькой, который как дитя радовался конкурсам и розыгрышам, но не обращал на жену никакого внимания: они были рядом, но не вместе, и всячески избегали касаться друг друга... Начальница занимала беседы Диму, и он вдруг задрал штанину до колена – я увидела, что Мария Марковна смотрит на его лодыжку как на картину великого художника, то есть – с восторгом и благоговением.

– Моя дочка, – сказала вдруг Мария Марковна (она никогда не говорит "наша дочка", но только "моя") – ведёт гимнастику в спортивном центре "Карма", и я думаю, вам надо к ней записаться. Вдруг поможет, правда, Таня?

После долгих январских каникул Дима, действительно, начал ходить в спортивный центр "Карма" – прыгал там вместе с молоденькими девчонками, изживавшими комплексы, и послеродовыми женщинами, боровшимися за фигуру. Как ни странно, опухоль начала понемногу спадать. Я, конечно, нервничала – там столько юных тел, к тому же, дочка Марии Марковна была не просто хорошенькой, но по-настоящему красивой девушкой, обладающей, к тому же, нетронутым запасом яйцеклеток... Нервничала, но не показывала виду – а когда становилось совсем не по себе, наблюдала за Лаки: как он плавает среди

зеленых веток, разевая рот. Я как будто ждала ответа от рыбы – но ответа не было, а впрочем, когда его нет, это есть и самый честный ответ.

В марте приехала Наташа – остановилась на ночь по пути в Екатеринбург. Жаловалась на Евку – звонит редко, встречается с какими-то парнями, домой носу не кажет...

– Да, – спохватилась Наташа, – чуть не забыла, – бабка-то ваша померла!

Лаки плеснул хвостом в аквариуме.

– Как померла?

– Ну а как помирают, не знаешь что ли? Легла и скончалась. На другой день к ней пришли порчу снимать, а она лежит там и, что интересно, благоухает.

– В каком смысле – благоухает?

– Ты что, будешь каждое слово за мной повторять? – справедливо возмутилась Наташа. – Благоухает, как все святые люди. Даже батюшка из Магнитки подтвердил, что имеем дело с особым случаем. И, между прочим, порчу с тех, кто бабку обнаружил, как рукой сняло...

– А когда это случилось? Почему вы не написали?

– Просто письмо не дошло ещё... Две недели назад это было. Таньк, а ты видела, что рыбёшка почернела?

Я смотрела на Лаки каждый день по многу раз, но почему-то не заметила очевидное – плавники и хвостик подернулись черной траурной каймой, на брюшке появилось темное пятно... Бросилась за советом в Интернет – на сайте для аквариумистов сообщили, что у золотых рыбок (а я, за неимением другой информации, считала Лаки "золотой" рыбкой) часто встречаются грибковые заболевания, симптомы которых точно подходили к нашему случаю. Всё, что можно сделать, соболезновали авторы сайта, это поддерживать достойный уровень жизни питомца до самого конца.

Маленькое стойкое существо, скользкий оловянный солдатик, мой Лаки умирал у меня на глазах. Я смотрела на его смерть сквозь стекло, и ничем не могла помочь. То ли от трусости, то ли из сострадания хотелось прекратить всё это раньше – в конце концов, это всего лишь рыбка, и ничего не изменится, если я выплесну воду раньше времени, но... на стенках аквариума вдруг появились маленькие улитки, тоже, несомненно, живые, да и сам Лаки как будто не соглашался признавать факт своего умирания – и отчаянно боролся за жизнь, хотя плавал уже с заметным трудом, и нетронутые розовые хлопья корма размокали в воде, превращаясь в кашу.

Вскоре пришло обещанное письмо от мамы – она подробно описывала смерть Авроры Константиновны и её похороны. «Народу было – как будто попла провозжали! Из Магнитки два автобуса приехало, наших парижских тьма, и вся Фершамка. Из семьи бабкиной только внук был – Юрий. Симпатичный такой мужчина, серьёзный. Кандидат исторических наук. Сказал, будет дом продавать – он у вас там, в Челябине живет, ему в Париж не наездишься. Ишмаметьевы тут же подсуетились, Райка такая ушлая стала, – и купили дом, хотя бабка, можно сказать, еще не остыла. Аура, говорит, хорошая, надо брать. С аквариумом правда, не знали, что делать – у дочки оказалась аллергия на рыб. У ней на всё аллергия – и на тимофеевку, и на курей, и вот, оказалось, на рыб. Райка всем раздала этих рыбок – по банкам разлила и раздала. Ну и я тоже взяла парочку для баловства. Приятно глядеть, как они плавают – вроде как сама с ними в водичке струишься...»

После лирического отступления мама вернулась к описанию похорон – подтверждала, что от гроба исходило благоухание, немного напоминавшее, как всем показалось, запах белого пиона. Святая, говорят, была женщина, великодушно признала мама, и, с новой страницы, с красной строки принялась давать советы Диме.

«Найдите змеиного яду – можно у китайцев поспрашивать. Этот яд надо развести в воде один к двадцати и в полночь окропить им больное место, а потом аккуратно промыть раствором марганца, и прочитать молитву. Говорят, наутро и следа не будет»...

И так далее – на трёх листах.

Начитаешься – и станешь кандидат истерических наук!

Лаки умирал несколько месяцев. Часами «висел» в одном и том же месте – я каждое утро, просыпаясь, шла к аквариуму с закрытыми глазами: боялась, что это уже случилось, но каждый раз рыбка немного дергалась, как будто тоже видела меня через стекло и узнавала размытое лицо неведомого чудища, которому было дано имя на рыбьем языке. Лаки стал уже совсем прозрачный, грязно-серый, позолота сошла с хвоста и плавников... Но всё равно он продолжал жить, цеплялся за каждую новую минуту, шлёпал губами и понемногу ел, хотя силы покидали его – а улиток вокруг становилось всё больше и больше.

Умер он без меня – и я малодушно обрадовалась этому. Дима вернулся с работы первым – и пальцами выловил из аквариума мёртвую рыбку. Он даже успел отвезти каким-то своим знакомым аквариум с улитками – и поставил на полку книги, чтобы я не ударилась взглядом о пустое место. Да, таких мужей и вправду вымаливают с детства...

Я увидела полку с книгами и заплакала так, как не плакала даже в тот день, восемь лет назад, когда наш сын решил не рождаться. Дима перепугался:

– Давай купим других рыбок! Или кошку заведем – ты же хотела?

Но я плакала не потому, что жалела Лаки, или вдруг осознала, как мне будет его не хватать. А потому, что поняла, наконец, о чём говорила мне Аврора Константиновна.

Ведь даже если ты стоишь, выражаясь языком водителей, «не в том ряду», это вовсе не означает, что придётся пропустить поворот.

Я думала, в ту ночь мне приснится Аврора Константиновна – а увидела во сне папу. Он мне никогда не снится, мама считает, это потому что «у него все хорошо». Но и в том сне у папы всё было хорошо – он так ласково смотрел, что у меня потекли слёзы по щекам, и я силилась удержать этот сон как можно дольше, но он, конечно же, рассыпался, истаял... И я ничего не запомнила, кроме этого ласкового взгляда – ничего.

Ровно через год, на майские праздники мы снова поехали в Париж – взяли с собой Евку с екатеринбургским «женихом», уже отучившимся год в театральном. Дима с удовольствием поглядывал на свои новые ботинки из змеиной кожи, которые он купил из чувства мести, и я боялась, что мы врежемся куда-нибудь, потому что на дороге он смотрел значительно реже. Я даже предлагала сама повести машину – у меня уже полгода как были самые настоящие, законные, а не купленные права. Но Дима не согласился – на пятом месяце беременности не стоит нервничать из-за идиотов на дороге. Слово отозвавшись на его слова, впереди показалась грязенькая «пежо» с екатеринбургскими номерами. Евка с женихом курлыкали на заднем сиденье, и не поняли, почему мы смеемся. И водитель «пежо» тоже не понял, но записал это на свой счет – и всю дорогу до Пласта пытался нас нагнать и обставить.

Табличку с надписью «Париж» обнимали сегодня сразу три девушки. Мама бежала к воротам, теряя калоши. Наташа разрыдалась, глядя на свою взрослую дочку, а потом обнимала меня бережно и радостно. Тетя Лида Батраева спешила к столу с пирогами и внуком – Коленька в этом году поедет в настоящий Париж, – прокричала она ещё до того, как все уселись за стол. – Выиграл конкурс стиха!

– Ты когда в декрет? – спросила зоркая Рая Ишмаметьева, а Лиза Иванова притащила целый альбом новых фотографий своих двойняшек: уже после третьей страницы рябило в глазах.

Вечером мы с Димой пошли гулять к Эйфелевой башне. Розовое небо с позолоченными облаками, стайка подростков, просыпанных как семечки... Только в Париже бывают такие закаты.

Врачи сомневались, что я смогу родить здорового и, скажем честно, живого ребенка. Тот страшный случай девять лет назад. Моя неведомая хворь и килограммы лекарств. Гадюка, укусившая будущего отца... В карте беременной – как в маминых письмах! – сплошные восклицательные знаки.

– Мы – и вы – должны быть готовы ко всему, – заявила участковая.

Я думала, мне принесут ребенка в реанимацию – как приносили всем, и даже той несчастной, у которой выжил только один из близнецов. После кесарева прошло уже девять часов, – я давно пришла в себя, знала, что ребёнок жив – но мне его

не показывали и ничего не объясняли... Врач пришел поздно вечером, сказал, что педиатры решили перестраховаться – и мы с малышом увидимся позже.

Прошёл ещё один день, меня перевели в послеродовое отделение – и я вздрагивала от каждого звука, скрипа, плача в коридоре. Малыша всё не несли, Дима звонил каждые полчаса, мама и Наташа в Париже были на низком старте... Я всё ещё не видела сына, и тоска моя по нему стала вдруг такой огромной, какой была пустота внутри, там, где он ещё недавно переворачивался с боку на бок.

Я вышла из палаты на несколько минут, с трудом дошла, кривясь от боли, до окна в конце коридора, а когда вернулась, в палате стояла колыбелька с маленьким свёртком: наш сын внимательно смотрел на меня и шлепал губами, как рыбка. Я так ждала его, а он всё равно ухитрился стать неожиданным! И кто это додумался оставить малыша без присмотра – когда матери нет в палате?

Вот так мы увиделись в первый раз.

...В общем-то, я никогда не сомневалась в том, что счастлива – даже когда всё вокруг ломалось и расклеивалось, и любить свою жизнь можно было только под наркозом. Даже в такие дни где-то вставало солнце, пели птицы, ползали змеи (куда без них), и рыбы плескали плавниками в воде. Балерины выходили на сцену, «пробуя» ее кончиком ноги, как холодную воду, над Парижем шел синий дождь, и где-то очень далеко от Южного Урала готовился к падению новый метеорит.

Мой город

Рассказ

Я столько знаю о Париже!

Водить по нему экскурсии – это у меня сейчас самая заветная мечта.

С прежней мечтой сыночек помог, он всегда был такой умница... К сожалению, очень поправился в последние годы, особенно на лицо. Но какой сын! Я даже сама себе завидую, что у меня такой мальчик вырос.

Он знал, как я мечтала жить в Париже, и купил три года назад маленькую квартирочку. Правда, уже за Периферик, и район не очень спокойный, но не надо думать, что я придираюсь. Это ж всё равно Париж! Страшных денег стоила эта квартирочка. Сын мне всю сумму не озвучил, но я могу себе представить.

Я живу здесь с октября по апрель, а потом уезжаю домой, потому что сад не оставишь ведь. И внуков, правда, невестка мне только гулять с ними разрешает, и то редко. Пока я дома, она уезжает с детьми в парижскую квартирочку. Так мы с ней чередуемся. Она и за городским моим жильём смотрит. Невестка неплохой человек, но какой-то холодный. И глазки у нее слишком маленькие – я когда с ней познакомилась, сразу подумала – как она через них вообще что-то видит?

Сил у меня ещё много, я бы и на пенсии работала – но мне сын запретил. «Отдыхай, – сказал, – мама. Ты и так нам всю жизнь посвятила!»

Первые дни в Париже я с утра до вечера бродила по улицам. Запоминала названия улиц на синих табличках – красивые, как стихи! Вожирар, Контрэскарп, Монтень! Не то, что у нас – Смазчиков, Заводская, Metallургов. А тут ещё недавно, аккуратно в мой прошлый приезд, рядом с Ширококореченским кладбищем построили торговый центр «Радуга» – и остановка транспорта там называется «Отрадная».

В Париже такого быть не может.

Какие здесь у них, то есть, у нас – никак не могу привыкнуть! – кладбища! Ну вот лично я бы всё отдала, чтобы на таком упокоиться. Я уже сыну слегка намекнула на Пер-Лашез – хотя мне больше нравится Пасси, но это шестнадцатый аррондисман, там точно не получится. И сыночку не нравятся такие разговоры, хотя смерть это вполне естественная тема в моем возрасте.

– Тамара Гавриловна, да вы нас всех переживете, – говорит невестка, причем, таким голосом, как будто её это не радует. Ничего, когда женит своего сыночка, то начнёт меня понимать – а я ей тогда помашу ручкой откуда-нибудь с Пер-Лашез. Очень мне нравится это кладбище, прямо целый город из надгробий. Я

там люблю гулять утром, когда ещё туристы не пришли, не листают на каждом углу свои книжки и не спрашивают – где здесь Уайльд, да где здесь Пиаф? У Пиаф на могилке иногда магнитофончик играет, и она поёт этим своим ржавым голосом: «Non, je ne regrette rien!» Магнитофончик включает женщина, которая приходит сюда с уборкой – вот как я к своим, на Широкую речку. А я смотрю на эту женщину и думаю – как же она не понимает, что мертвым нужен покой, а не музыка. Может, Эдит не хочется слышать свой голос оттуда, из-под земли?

Некоторые люди совершенно нечуткие.

Так вот, в первые дни в Париже я всё запоминала и фотографировала, а потом сын мне купил книги – и путеводители, и различную художественную литературу. А я такой человек, который ещё с детства тянулся к знаниям – но жизнь сложилась не таким образом, чтобы мне эти знания давались. Я окончила только училище, но работала всегда с совестью. Старалась всем делать, как для себя. Я и сейчас, когда вижу, что работают без уважения к людям – мне такой человек глубоко противен.

Про Париж мне рассказывала в детстве одна женщина. Мы жили на улице Народной Воли в коммуналке, и у нас была соседка, бывшая учительница французского языка. Старенькая совсем, губы как будто зашиты морщинками – но говорила красиво, складно, я и теперь так не сумею.

Помню, был такой голодный, холодный год – я лет семи, наверное... И вот, мама ушла в ночную смену, и оставила меня с этой Ксенией Андреевной. А Ксения Андреевна вообще не умела готовить, мама говорила – только продукты переводит. Поэтому оставила нам с ней какую-то кашу. Совсем мало каши было, я это помню. А у Ксении Андреевны была такая чудная тетрадь – как будто в тканевой обложке. И она там записывала что-то быстрым почерком – вела дневник по-французски. Я кашу ела, она – дневник вела. Жаль, что не сохранился.

Ксения Андреевна всё детство жила в Париже, и внушила мне убеждение, какой это прелестный город.

– Тamarочка, у вас впереди целая жизнь, – говорила Ксения Андреевна, – обещайте, что вы когда-нибудь побываете в Париже! Вы там найдите, пожалуйста, такое место, как площадь Дофина, встаньте где-нибудь подальше

от других и скажите негромко: «Ксения Андреевна, я приехала! Я в Париже!»

А я же была совсем еще крошка, ну что такое – семь лет? Я ей пообещала, что выполню – так всё и сделаю.

И можете над этим смеяться, но я в один из первых дней пришла на площадь Дофина – отвернулась, правда, к стенке, чтобы совсем уж не пугать людей – и полностью, как она просила, отчеканила всё до последнего слова. А потом ждала, как дурочка, будто сейчас что-то случится – гром прогремит, или я увижу Ксению Андреевну живую, какой она мне запомнилась. Конечно, ничего не случилось. Оно никогда не случается – во всяком случае, со мной.

Сейчас, когда я уже сама таких лет, мне кажется, что Ксения Андреевна просто очень хотела кому-нибудь запомниться на всю жизнь. У ней своих-то никого не было – в комнате висела над столом фотография ребенка в чепчике, но на обратной стороне (я раз подсмотрела) было написано «Мисенька, 1911-1912 г». То есть, этот Мисенька умер совсем еще младенчиком. Вот поэтому Ксения Андреевна была такой одинокой – время её уходило, и она решила остаться хотя бы в моей памяти таким образом. И не прогадала. Вот же, сколько всего я забыла – а её помню! Губы так и шевелятся перед глазами – как живые. Морщинки – штопкой.

А может, Мисенька была девочкой? В Париже одно время была такая Мися Серт, я про неё читала. Она оказывала влияние на всех гениев, с которыми встречалась в Париже. Ей посвящали различные стихи, музыку, Ренуар её портреты рисовал. В книге были фотографии этой Миси – если в двух словах, вообще некрасивая. У нас на Урале таких – косо́й десяток в каждой деревне. Я думаю, она всем нравилась только потому, что была под рукой – мужчины вообще не любят кого-то специально искать. Они выбирают из тех, кто поблизости.

А вот я своего мужа сама выбрала – пусть он и считает, что это он меня увидел и первый влюбился. Я его сразу заметила, только он пришел в заводоуправление. Жили мы хорошо, долго, сына вырастили, а потом он лёг – и в минуту умер. И я могу точно сказать – нет в жизни ничего страшнее, чем не успеть уйти первой. Счастье, что сын со мной остался – и вырос таким прекрасным человеком.

В Париже мне очень хорошо. Я его быстро выучила – небольшой такой город, компактный. Французский язык тоже учу – он как будто мне вспоминается, будто я уже когда-то знала все эти слова. Я даже книги французские в магазинах понемногу начала листать – что-то разбираю. И говорю, правда, только самое необходимое – бонжур, пардон, лядисьон сильвупле.

– Я тобой горжусь, мама, – сказал мне недавно сын.

Я столько всего узнала о Париже! Так много, что мне тяжело носить в себе эти знания – я бы с удовольствием поделилась ими, но только с теми, кому это интересно. Люди ведь разные бывают, и в Париж приезжают все подряд, а не только умные, да хорошие.

И если бы я вела экскурсию, то начинала бы не с Нотр-Дама, и не с Башни – а с базилики Сен-Дени. Она как-то сразу правильно настраивает. Это усыпальница всех французских королей, – некоторых, правда, выбросили оттуда в революцию, но потом парижане собрали останки и снова захоронили. Парижане умеют признавать свои ошибки. И ещё такой интересный факт – когда вскрывали гробы, то были все поражены, потому что у Людовика Четырнадцатого оказалось совершенно черное лицо, и смердел он неопишимо.

Лично мне самой больше других королей нравится Генрих Четвёртый, – я вот как-то сразу поняла, что он был с юмором мужчина. Как и мой покойный муж.

Некоторые короли вылеплены там прямо с голыми пятками. Они лежат как будто поверх своих гробов, а под ногами у них – собачки или другие животные. А лица у многих королей – с улыбками, как будто им нравится так лежать, что все на них смотрят. Есть и детские надгробия – просто кукольные. Страшно подумать, какие там захоронены маленькие дети. Как Мисенька у Ксении Андреевны.

После базилики я своих туристов повезла бы в метро до станции Сите. Вот тогда уже можно и Нотр-Дам посмотреть, и к набережной выйти – там есть такое место, откуда собор выглядит точно как корабль. Если глаза сощурить, кажется, что он возьмет да и уплывет вместе со всем островом – в гости к Башне.

Потом мы перешли бы по мосту на остров Сен-Луи, и ели бы мороженое в «Бертильоне» (моё любимое – кассис, чёрная смородина). А если группа хорошая попадётся, я им в это время буду рассказывать разные истории – я их много

знаю! Вот, например, недалеко от Нотр-Дам жили два человека, цирюльник и пекарь. Цирюльник убивал школяров, которые жили у священников, и продавал мертвые тела пекарю – а пекарь делал с их мясом пирожки, и продавал тем же самым священникам. Потом преступление раскрылось, и злодеев сожгли. Может быть, это не самая подходящая история, как мама говорила – «не к столу». Тогда я могу рассказать другую – про святую Женевьеву, или святого Дениса, который шел со своей отрубленной головой в руках целых шесть километров!

Дальше я бы перевела всех на левый берег – и там, первым делом, в Люксембургский сад! Мы бы взяли всей группой стулья и смотрели бы на статуи королев.

А вот с музеями надо хорошенько подумать. Военные захотят в Дом инвалидов. Врачи – в музей Родена, им нравится, как у его статуй напрягаются мышцы – как у живых. Это я однажды подслушала русского хирурга, он восхищался «Мыслителем» и у всех спрашивал, где здесь выставлен «Человек со сломанным носом». Лувр все любят, а Помпиду – не для каждого. Мне самой такая архитектура не очень нравится – когда все кишки наружу. И внутри там тоже не самые приятные картины.

Да, я много знаю о Париже. Жаль, что меня никто не возьмет в экскурсоводы – сын узнавал, и я так поняла, для этой должности нужно специальное образование.

Так что эта моя мечта никогда не сбудется. Ну и не страшно! Правда, я всё равно не понимаю, зачем мне нужно специальное образование, если я даже могу показать место, где нашли головы царей с Нотр-Дама? Статуи сбросили во время революции, а потом совершенно случайно обнаружили отдельные головы во время стройки на правом берегу. Только в 1977 году – это как раз год рождения моего сыночка.

Видите, я и даты все помню, а самое главное – я так люблю Париж!

Когда я поняла, что не стану экскурсоводом, то стала смотреть на туристов немного другими глазами. Я поняла, что не очень их люблю – и мне не нравится, что они такими миллионами приезжают в мой город. Я даже стала чувствовать к ним какую-то неприязнь, особенно когда они фотографируются на фоне Башни – изображают, что держат её за маковку двумя пальцами.

А на кладбищах я их прямо перестала выносить!

Сыночек говорит, может, это у тебя, мама, ревности? Может, ты не хочешь делиться с другими своим Парижем?

Я сначала отмахнулась от этих слов. А потом, уже ночью, стала думать. Может, я, правда, ревную? Я люблю Париж как человека, а когда любишь человека – тогда без ревностей не обходится. Мы с мужем очень хорошо жили, но я всегда его ревновала – и карманы проверяла, и воротники у сорочек нюхала.

А тут – не одного человека, а целый город контролировать, это же не каждый сможет.

Но у меня ещё много сил. И я точно помню, когда впервые сделала то, что делаю теперь каждый день – как работу, которую нужно выполнять на совесть.

Первый раз – это когда ко мне на Пер-Лашез подошли две девчонки – юбки до трусов. Одна спрашивает на хроменьком таком французском, excusez-moi, мадам, где тут лежит такой артист, как Джим Моррисон?

А я его могилку хорошо помню – там всегда уйма народу, тоже иногда музыка играет, и некоторые даже песни орут. Мы и стояли-то с этими девчонками недалеко, у художника Жерико – и я прямо представила, как они сейчас начнут там фотографировать себя на телефоны и по-всякому кривляться. Они русские были, я сразу поняла – только у нас, русских, всегда такие лица, как при исполнении. Даже у самых молодых.

Я понятия не имею про этого Джима, он к Парижу вообще, по-моему, никак не относится. А вот Жерико, он – да. Я всегда в Лувре смотрю на его картину «Плот «Медузы». Я люблю такие картины – когда смотришь, и внутри всё клокочет! Не то что в Помпиду – выльют ведро краски на холст, приклеют сверху какие-то волосы – и вот вам искусство!

В общем, я этих девчонок отправила с любезным лицом совсем в другую сторону – к писателю Прусту.

И внутри мне так хорошо от этого стало! Так приятно было смотреть, как они идут не туда – теряются, путаются, сердятся.

Вот так я и начала прятать Париж от туристов – потому что я о нём столько знаю, но знания эти никому, оказывается, не нужны. Даже невестка очень грубо попросила меня не забивать головы внукам всякими баснями – а я им всего-то рассказывала про взятие Бастилии:

– Тамара Гавриловна, им и так много задают по программе. Пусть лучше отдохнут летом, побегают.

Ну да, пусть бегают, конечно. Невестке виднее. Только я с тех пор вообще решила молчать – и даже если меня спрашивают, отвечаю неправильно.

В метро ко мне часто подходят – у меня лицо вообще-то приветливое, говорят – доброе. Сын считает, я похожа на какую-то пенсионерку из сериала про убийства.

Спрашивают, как проехать в Венсеннский замок? Я знаю, как проехать – я даже знаю, что в кухне этого замка сварили английского короля, потому что он умер, и англичане не знали, как его везти на родину, чтобы он не испортился. Я знаю, но называю неверную станцию – и уезжают эти голубчики в Дефанс. В другую сторону.

Спрашивают, где фуникулёр, чтобы на Монмартр подняться? А я их пускаю совсем по другой дороге – идут они, несчастные, как святой Дени с головой в руках, всё дальше и дальше от фуникулёра. Вообще, люди всегда очень легко теряли в Париже головы. И святой Дени, и король с королевой на гильотине, и эти каменные цари Нотр-Дама...

Меня о многом спрашивают, а я всегда с любезной готовностью отвечаю.

И нет, мне не стыдно. Я считаю, что Париж каждому сам откроется, если человек того заслуживает, и любит его по-настоящему. А если не откроется, значит, и не надо будет приезжать сюда в другой раз. А тот тут прямо как намазано всем.

Я же вот, например, была и в других городах – сыночек возил меня в Лондон, поездом. Я его сразу же невзлюбила, этот Лондон, там всё не как у людей. Большой он какой-то слишком, и на лестнице в метро меня в первый же день чуть с ног не сшибли – они же не только ездят не по той стороне, они и ходят так! Нет, спасибо, я в Лондон больше не поеду.

Я буду жить в своём Париже, и выучу его наизусть, как моя бабушка знала наизусть Псалтирь. Пусть даже ей это никогда в жизни не пригодилось, она всегда этим очень гордилась.

А я, если чем и буду гордиться, так это тем, что живу в таком городе. Он самый из всех любимый.

Мой, и только мой Париж.

Немолодой и некрасивый

Рассказ

Незнакомая речь хлещет в уши, непонятная и дикая, как волна, что брызжет пеной под ногами.

В. Короленко

19 марта

Вчера утром снова упал самолёт, полторы сотни людей погибло – в том числе два оперных певца и двенадцать малолетних детей. Я не боюсь летать, откуда-то знаю, что смерть моя – пешеход и земледелец, но когда самолёты падают, путешествие становится опасным независимо от тебя. И очень жаль погибших пассажиров – представляю, как они паковали вещи, боялись опоздать на рейс, радовались, что рядом с ними в салоне – свободное место...

Мама справедливо считает, что я слишком часто оставляю семью без присмотра, а тут – ещё и на целый месяц. Она, впрочем, и сама ездила в своё время по всему СССР, а мы с папой и сестрой Ксенией оставались без женского пригляда то на неделю, то на две. Папа жарил нам пельмени и докторскую колбасу. Бельё стирала Ксения – после стирки оно выглядело почти таким же грязным, как до неё, а у меня заводились колтуны в волосах, потому что я ленилась их прочёсывать.

Олег попросил не будить его ночью – ему и так придётся вставать ни свет, ни заря, провожать в школу Ленку. Сейчас закажу такси – и тоже лягу, попытаюсь поспать хотя бы пару часов. Цветы перенесла в гостиную и составила рядами на полках, чтобы маме было удобнее поливать. Клеродендрум собрался цвести – он всегда делает это накануне моего отъезда. Как маленькие дети, которые болевают именно в тот момент, когда мама начинает собирать чемодан.

Господи, дай мне сил на завтра! Ну или хотя бы терпения. Целый месяц без Олега и Ленки, без родителей, мастерской, без цветов...

В путешествиях никогда не знаешь, какой билет тебе выпадет.

20 марта

Ну вот, я на месте – в этой самой резиденции для художников. Квартал Марэ – такой особенный Париж, ничего общего с другими районами. Наш администратор Жан-Франсуа сказал, что «руки Османа сюда не дотянулись». Дома старые, улицы узкие, всё, как я люблю.

В прошлый раз, когда я была в Париже, то даже не смотрела в сторону Марэ – мы клубились вокруг Нотр-Дама и площади Конкорд. Потом кто-то предложил взять вина и пойти пешком до Башни. Я в кровь стёрла ноги новыми босоножками, а потом ещё и упала на смотровой площадке. Это всё было сто лет назад, и тогда я привезла из Парижа два шрама – один был чуть ниже колена, и долго не заживал. Второй проходил прямо по сердцу, его никто не видел, но он был намного хуже первого. Очень тяжело я тогда влюбилась, будто заразилась чем-то, честное слово.

Долетели нормально, хотя при посадке нам заботливо выдали бесплатные газеты с огромным репортажем про тот упавший самолёт. Со мной рядом сидел молодой человек в узеньких брючках, – он меня полностью устраивал как сосед, пока мимо не пошла в туалет его знакомая, и не уселась на обратном пути на свободное третье место. Они начали обсуждать каких-то своих друзей – в основном, Настюху и Саню, и Узенькие Брючки проявили себя не с лучшей стороны. Бедную Настюху он буквально по косточкам разобрал, как ископаемого динозавра, да и Сане, в общем, досталось. Самое интересное, что на втором часу этой беседы я тоже поневоле втянулась в разговор, как пассивный слушатель – и когда Узенькие Брючки вдруг замолчали, с трудом сдерживалась, чтобы не пихнуть локтем: а дальше?

Интересно, как там Ленка, и как цветы? Волнуюсь за брунфельсию – ей нужны влажный воздух и прохлада. А мама, наверное, просто польет её из лейки, хоть я и приклеила листочки с рекомендациями к каждому горшку. Олега к цветам подпускать нельзя – во-первых, у него аллергия в легкой форме, во-вторых, он цветы не любит, и они платят ему тем же.

Очень хочу спать, но всё-таки опишу моих здешних «сожителей». В резиденции помимо меня живут трое – британский скульптор Джереми, итальянский фотореалист Антонио (просит звать его Антоном – пожалуйста!) и американская коллажистка Кара. Джереми – немолодой и некрасивый, с каким-то окаменевшим, как будто сам себя изваял, лицом. Кладбищенская гвоздика. Антон, напротив, красавец – и в курсе этого! Цветущий розан. Кара голубоглазая, в возрасте. Увядавший колокольчик. Все, кроме меня, говорят на прекрасном английском, включая Антона и Жана-Франсуа...

В скайпе с домашними пообщаться не удалось – в резиденции нет вай-фая. Кормят прилично, кровать удобная, мастерская – просто огромная!

– Ну а как иначе – вы же работать сюда приехали, – заметил Жан-Франсуа. Он мне не нравится – глаза хитрые, масляные. Мухоловка.

23 марта

Этот месяц в Париже был распланирован заранее – расчерчен по клеточкам, разбит на периоды, усеян восклицательными знаками. Я умею держать себя в узде, в струне и в тонусе, надсмотрщики мне не нужны, как, впрочем, и

подпинывания. Пока всё по плану. Два дня усердно работала. Сделала несколько удачных набросков, писала с натуры на рынке – продавцы сначала были не в восторге, но когда увидели, что получилось, признали: «Сюпер!» В первый же вечер Антон предложил пойти «выпить» – но я его разочаровала тем, что не пью ничего кроме чая даже на свадьбах и похоронах. «На похороны пока не приглашаю», – заявил Антон.

Джереми, по-моему, вообще никуда не выходит – с таким же успехом можно было сидеть у себя дома, наверняка, у него в Лондоне есть громадная мастерская с панорамными окнами. Я даже не видела его ни разу после знакомства, только кашель на лестнице слышала. Суховатый такой кашель. Захотелось поделиться с ним своим граммидином.

В цветочных лавках продают тюльпаны, камелии, гортензии (их покупают для пересадки в грунт), ещё я видела ирисы, клематис, гигантские лилии и мелкую ромашку. И, конечно, розы – куда нам без роз.

Кара спросила, что именно я рисую – и когда узнала про цветы, то выглядела, мягко говоря, разочарованной. Прямо как Олег, когда узнал, что мои работы перестали покупать. Еще три года назад картины хорошо продавались, а когда большие «Ирисы» купил какой-то банк за триста тысяч, Олег стал относиться ко мне, как к курице, которая снесла вдруг неожиданно для всех золотое яйцо. Муж тогда звонил мне каждый день с работы и спрашивал:

– Ты гуляла сегодня? А что ела? Поспи после обеда обязательно!

Зря старался, золотые яйца я больше не произвожу – работы пылятся в Дуниной галерее, и, по-моему, начинают её раздражать. Правда, парижской поездкой Дуня гордится больше меня – она ещё полгода назад начала рассказывать клиентам, что «художница уезжает в Париж работать». Обычно это действует – слово «Париж» вообще очень хорошо унавоживает всё, что связано с искусством.

В соседнем доме есть кафе, где бесплатный вай-фай – местный официант уже узнаёт меня. Ленка утверждает, что пересдала тройку по немецкому. Мама на высоте – обслуживает каждый цветок в отдельности, я ей очень благодарна. Брунфельсия в порядке, клеродендрум цветёт вовсю. Вот только антуриум нужно поливать чаще – а я забыла об этом сказать.

От Ксении никаких известий – мама волнуется. Сестра у меня очень оригинальная женщина, живёт в Индии, увлечена аюрведой и йогой. Детей у Ксении нет, как и мужа. Зато фигура – точёная.

Собираюсь в Помпиду, там проходит выставка Лихтенштейна. Но если честно, мне больше хочется гулять по городу, чем торчать в музеях. Не говоря уже о том, что нужно работать – я же за этим сюда приехала.

26 марта

Всё-таки надо вести дневник каждый день – как бы ни устала! Потом это забудется, а мне не хочется, чтобы забывалось...

Но – обо всём по порядку.

На выходе из Центра Помпиду я никак не могла прикурить сигарету – вдруг налетел ветер, сухой и с пылью, как в пустыне. Крутилась так и этак, палец обожгла зажигалкой, как вдруг кто-то под самым ухом спросил по-английски:

– Помочь?

Джерери! Ни за что не узнала бы его на улице – в резиденции он выглядит старым и каким-то угрюмым, а здесь, на площади перед музеем, вдруг показался ровесником. Черты лица – суровые, крепко притёртые, скульптурные – вдруг помягчели. Падают замки и скрипят засовы: из-за этого тяжёлого лица, как из-за двери, вдруг появляется настоящий Джерери. Глаза у него синие... хотела сказать, как васильки, но что может быть банальнее, чем сравнить цвет с цветком? Хорошо, что я не писатель, а художник!

Ветер стих так же быстро, как поднялся – и на прощанье успел затушить мою сигарету. Джерери не курил, но не стал читать мне лекции о здоровом образе жизни. Кашляет он сильнее меня, курильщицы (я вообще не кашляю – тьфу-тьфу).

Джерери спросил, бывала ли я в мастерской Константина Бранкузи, – призналась, что нет. Эта мастерская здесь же, у Центра Помпиду, и мы пошли туда вместе. Джерери намного выше меня, хорошо несёт голову и мало говорит.

Я тоже молчу, потому что чувствую себя голой без родного языка. Невыносимо – знать, что хочешь сказать, и не иметь под рукой привычного инструмента...

Мастерская Бранкузи окружена стеклянными стенами, правда, не со всех сторон. Можно разглядывать обстановку, в которой работал скульптор, можно любоваться его работами. Джереми прилип к стеклу намертво, и я – с ним. Кое-что узнала (не совсем безнадежна) – отливка «Птицы», фрагмент «Бесконечной колонны», чудесные женские головки и знаменитый «Поцелуй». Кажется, всё это так просто, так мало использовано средств – говоря моим языком, листья, не цветы, – но поди придумай! Джереми долго и подробно рассказывал, волнуясь, о Бранкузи, я кивала с умным видом. Половины слов вообще не разобрала, но успела потупить глаза, когда услышала: «Принцесса Х». Эта скульптура шокировала в свое время даже терпеливую парижскую публику – фаллос, похожий на телефонную трубку, вот такая принцесса. Будь Джереми русским, я сказала бы ему, как удачно подобрано название – но Джереми не русский, не поймёт.

Часа полтора провели в этой мастерской, потом я всё же решилась напомнить, что мы опаздываем на ужин.

Вечером Джереми сказал, что завтра после обеда едет в Люксембургский сад – и что мы можем поехать вместе. Он будет очень рад.

Обычно я на любые просьбы и предложения сначала говорю «нет», а потом, как правило, добавляю – «а впрочем, давайте». Мама говорит, что я ещё в детстве так делала – отказывалась от пирога, и тут же тянула руку за куском. Что ж, ей виднее. Но на приглашение Джереми я согласилась сразу. Повзрослела, наверное.

Перед сном вспоминала синие и голубые цветы – дельфиниум, незабудка, фиалка, примула, лобелия, гиацинт, анютины глазки, вьюнок, аквилегия, мои любимые ирисы и те скромные цветочки, которые росли в бабушкином саду. Она их называла «мускарики», хотя на самом деле это – гадючий лук.

27 марта

Только что закончила акварель с тюльпанами. Сейчас самый сезон: в каждой цветочной лавке стоят букеты розовых, белых, желтых тюльпанов, – нераскрывшиеся, они похожи на новые кисточки в стакане. Рядом – герберы, длиннющие мечи гладиолусов, розы, камелии, гортензии, но больше всего тюльпанов, нарциссов и орхидей.

Я никогда не покупаю букеты и срезанные цветы, и поэтому так часто хожу по рынкам и цветочным лавкам – жаль, что далеко не всем продавцам нравится видеть, как я рисую их товар...Один мсье даже сделал мне замечание – пришлось уйти. В идеале было бы сесть рядом с каким-нибудь цветочным партером или клумбой, но в Марэ я ничего похожего не видела. Возможно, ещё рановато для уличных цветов – Жан-Франсуа жаловался, что в март в этом году очень холодный.

Ленка, вроде бы, снова увлеклась немецким – сказала мне в скайпе, что незабудка по-немецки, как и по-русски – «не забывай меня», «vergissmeinnicht».

– Ты скучаешь? – спросила дочка.

Если честно, ни по кому я здесь не скучаю. Олег не ходит с постным лицом и не донимает меня ссылками на смешные видео (сюда он их, к счастью, не посылает), мамыны упрёки до Парижа не долетают, как и сообщения от дочкиной классной руководительницы, потому что телефон мой всё время выключен. Сообщения я могу и так себе представить: «Срочно сдать деньги на выпускной» (Ленка учится в шестом классе, но выпускные в нашей школе – каждый год), «Была удалена с урока географии за безобразное поведение», «Родительское собрание – в среду, в пять».

Мама появляется за Ленкиным плечом и рассказывает о цветах – у бегонии нашёлся засохший лист, а монстера вдруг начала «плакать».

– Значит, дождик будет, – говорю я, вспомнив свою красавицу-монстеру с фигурно вырезанными листьями. – Не поливай пока, завтра расскажешь, как дела.

Папа, наверное, сердится, что маме приходится каждый день ездить к нам через весь город...Но не бросать же цветы!

Олег однажды заявил:

- Тебе эти горшки дороже нас с Ленкой.

Но ведь цветы полностью беззащитны, в отличие от людей. Они не могут пойти на кухню и налить себе водички, не могут спрятаться в тени или подставить листья свету...И доверить их я не могу никому кроме мамы. Она моей любви к «горшкам» тоже не разделяет, у самой была в своё время единственная традесканция, - но делает всё как надо.

Ой! Джереми кричит снизу, что готов ехать. Бегу.

29 марта

Очень странные вещи происходят здесь со мной.

Я давным-давно поставила крест на этой стороне жизни - да не какой-нибудь чернильный крестик, а добротную мраморную скульптуру, можно даже с плачущим ангелом. Эта сторона жизни - любовь и всякое там личное счастье. У нас с Олегом нет ничего похожего ни на первое, ни на второе, зато у нас есть Ленка - и пока она не достигнет того возраста, когда дети становятся взрослыми детьми, мы будем и дальше катить в гору камень совместной жизни, тоже временами изрядно тяжёлый. Как тот самый крест.

У Олега голубые глаза - но их не хочется сравнивать с незабудками и гиацинтами. Его глаза похожи на тысячные купюры.

И тут появляется этот Джереми - не мой и немой (потому что не говорит на русском, а мой английский - калика перехожий), немолодой и некрасивый... И всё это вдруг оказывается НЕ важно.

Единственное, что меня сейчас интересует - Джереми посылает кому-нибудь в Лондон ссылки на смешные видео? Впрочем, вру, не единственное. Ещё мне очень хочется увидеть его работы - пусть даже какие-нибудь эскизы, или те маленькие пластилиновые фигурки, с которых начинается долгий путь к готовой скульптуре.

И я очень боюсь, что они мне не понравятся. К сожалению, так часто происходит – прекрасный, интересный человек оказывается посредственным художником, и тогда очарование рассеивается, как если бы его и не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: [https://tellnovel.me/ru/matveeva\\_anna/lolotta-i-drugie-parizhskie-istorii](https://tellnovel.me/ru/matveeva_anna/lolotta-i-drugie-parizhskie-istorii)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)